

АКАДЕМИЯ АРХОНТИЯ

СВОИМ ИМЕНЕМ

ГРИГОРИЙ ПАВЛЕНКО



Григорий Павленко

Своим именем

<https://litres.ru/74439339>

SelfPub; 2026

Аннотация

Медяки у Айры есть. Тратить их некуда: за то, что едет к воротам этой зимой, медяками не платят.

Каникулы она впервые не уезжала «к семье» — осталась в академии, с ректором. Что было в эти две недели, дом не знает, но Тай хватило одного взгляда: «За каникулы дисциплина нарушалась».

А потом на дороге ставят то, что ставят на границах: столбы, которые читают Знак, и четверо в сером с листом. Совпадает — проходи. Не совпал — за тем приедет карета. Айра через них не ходит: её прочтут.

Совет всё понял ещё осенью: через эту академию проходят люди, которых в его записях нет. Понял — а доказать не может. Вот и ждёт, чтобы кто-нибудь вышел.

Академия не выходит. Она учится вязать мороки на стражу, кормит её пирогами и считает дни. А если никто не выйдет, Совет войдёт сам. В гости. Незванным.

Совет она обокрала. Теперь он едет за своим — и в этот раз она званая.

Содержание

Глава 1. Положено	4
Глава 2. Будки	24
Глава 3. Зима легла	41
Глава 4. Горло	62
Глава 5. Дорога вдвое	81
Глава 6. Расплести	108
Глава 7. Незримые	127
Глава 8. Покажите камень	147
Глава 9. Руки	169
Конец ознакомительного фрагмента.	183

Григорий Павленко

Своим именем

Глава 1. Положено

Огарок в фонаре у Стихоплёта дожил до утра, и это была первая новость дня. Айра вынула его из-за стекла, пока он не додумался погаснуть сам, и убрала в ящик. Огарок — тоже имущество, если ты смотрительница. А смотрительницей она была с лета и с должностью давно не спорила: должность кормила, грела и была своя.

Каменный страж в нише даже не повернул головы. Веки у него были опущены, и из-под век шло бормотание — низкое, как жёрнов на холостом ходу:

— ...кто с дороги воротился... Нет. Отдано. Прошлой зимой отдано. Недостойно.

Он сочинял. Все каникулы дорога стояла пустая, и все каникулы он сочинял впрок — на всех, кто сегодня вернётся. Каждому воротившемуся полагалось от него по паре строк, а повторяться он не умел. Айра ему не мешала. С камнем, который ищет рифму, лучше не заговаривать. Это она усвоила ещё в первую осень — на чужом примере, к счастью.

Работай, работай. У тебя сегодня очередь.

Дорога за воротами лежала чёрная и голая — снега она не

признавала, — а по сторонам стоял замёрзший туман, слоями, как в прошлую зиму. Сойди с чёрного камня в туман, и обратно не выйдешь, это тут знал всякий. Туман на неё поглядел. Айра на туман. Оба решили, что не сегодня.

Она перехватила ящик поудобнее и пошла обратно через двор — последний раз через пустой.

Две недели академия стояла пустая, и она ни разу за все каникулы не сказала себе, что это плохо. Осенью тут стояла машина Совета и считала кровь. Её посчитали: Знак у неё под рубахой чужой, брата Ренна, честный и казённый, и машина взяла его за чистую монету. Не взяла бы, и считать адептку Сол было бы уже некому. Человек Совета, который приезжал считать, уехал с итогом «без изменений». А то, за чем он приезжал, два камня, которые не разнять, так и лежало в мастерской у Серака, в коробе под крышкой. На крышке сидел Кот, по бокам стояли двое каменных, которые не едят и не спят. А ректор сказал тогда у окна: Совет думает долго и раньше весны не вернётся, значит, зима наша. Зима и была: полмесяца пустых коридоров, дрова, которые он теперь подкладывал сам, и она — наверх, каждый вечер. Осенью носила ему туда дрова, чтобы был повод, а теперь ходила без дров и без повода. В гости. Приличные люди ходят в гости не каждый вечер. Ну, у приличных людей и зима покороче.

Список того, о чём она никому не расскажет, пополнился за каникулы на один пункт: ей понравилось. Ходить в гости, сидеть у чужого очага, говорить про дрова — понравилось.

Что с таким пунктом делают, она не знала: раньше в этом списке лежало только ворованное.

Сегодня зима не кончалась — до весны было далеко. Кончались пустые коридоры.

Дисциплина на подоконнике приёмной глядела на двор сверху — десятник над артелью, которая вот-вот явится с гулянки: пересчитать, отругать, накормить. Айра ей кивнула. Кошка кивка не вернула — у неё был пост.

Первые сани она слышала раньше, чем увидела: полозья по чёрному камню скребли так, будто кто-то тянул ножом по чугуну. Стихоплёт в нише вскинул веки — со скрипом — и приосанился, насколько умеет приосаниться камень, у которого и так подбородок к небу.

Сани вкатили к воротам широко, с разворотом: возчик на облучке всю дорогу злился и хотел, чтобы это заметили. Он был с кнутом, красный от мороза и от чего-то ещё, а рядом сидел парень в тулупе, с сундуком на коленях, — первокурсник, по сундуку видно. У первокурсников сундуки новее, чем у всех, и обиднее: сразу видно, что покупали к отъезду.

— Медяк! — крикнул возчик воротам, не слезая. Стихоплёт открыл рот. Возчик его не слышал. — Посреди дороги! Жердь, будка, мужик в будке — медяк с саней, говорит, два с родителей. Положено, говорит! Я ему — кем? А он — положено. Я ему говорю: я не родитель, я дядя!

— Папа, — попробовал парень.

— Дядя. — Возчик даже не обернулся. — До ворот —

дядя. Ты мне медяк должен, между прочим.

Стихоплёт всё это время держал рот открытым, и в конце концов из него вышло — сдержанно, с достоинством, для племянника, а не для дяди:

— Кто воротился к нам с зимней стороны —
тому и стол, и кров, и книги. До весны.

Две строки, а парень покраснел до ушей и полез с сундуком с саней: ему, судя по лицу, и двух строк было много. Дядя строфы не заметил вовсе.

— Кто взял медяк? — спросили сзади.

Айра не обернулась. Оборачиваться было незачем: этот голос она узнавала теперь по одному слову, а тут было целых три. Ректор стоял в арке — с пустыми руками, без плаща. Академия возвращалась, и он вышел её встречать, как выходил всякий год. Только раньше он делал это с крыльца, а в этот раз вышел к воротам, где стояла она.

Что вышел он к воротам из-за неё, было видно — ей, во всяком случае. Стихоплёту, поди, тоже, но камень молчал. Всем он отдавал по две строки, а ей с лета не отдавал ни одной: молчание у него — высшая почесть, и он её держал.

— Мужик, — повторил возчик, теперь ректору, и слез наконец. — В будке. Я ж говорю. Дощатая, свежая, с окошком, и жердь поперёк. Я сюда пятый год езжу — не было. А тут стоит.

— Кто поставил?

— А кто ж его знает. Стоит — стало быть, положено. —

Он развёл руками, и в руках у него не было медяка, а был только кнут. — Не заплатишь — жердь не поднимет. А объезжать там негде: с дороги сойди — и всё, туман.

Ректор перевёл взгляд на дорогу — так, будто на бумагу, в которой нашлась строка не его рукой.

— На этой дороге застав не бывало триста лет. — Это он не возчику. Вроде бы дороге. — Я схожу и посмотрю.

— Я с вами.

— Смотрительнице положено?

— Смотрительнице положено видеть всё. Будку на дороге я ещё не видела.

— Вы с крыш видите.

— С крыш сегодня скользко.

«Неразумно» он не сказал. Задержался взглядом на ящике у неё под локтем — понял, что ящик она не отдаст, хоть проси, — и пошёл под арку первым.

* * *

Дорога в это утро длину решала сама, как всегда, — и решила, видимо, не задерживаться: башни за спиной ушли в туман в два счёта, а впереди, там, где у дороги полагалось быть середине, стояла будка.

Где у Знаковой дороги середина, не знал никто. Дорога была то в час, то в три шага, смотря по настроению. Но будка стояла посередине — это было видно сразу, и как это было

видно, лучше было не думать.

Они шли вровень. Не сговариваясь: он не убавлял шага, она не прибавляла, и выходило вровень само. Так они ходили через двор с той осенней ночи, когда двое каменных сошли со своих мест и встали к коробу у Серака. Двор к этому привык за одни каникулы, потому что двора во дворе не было: все разъехались. Сегодня возвращались все. Значит, привыкать предстояло заново — и всем, и ей.

— Вы её видите? — спросил он, не поворачивая головы.

— Вижу. Дощатая. Одна.

— Я спрашиваю не про доски.

— Я поняла, про что вы спрашиваете. — Ей это сказать было легко: с ним про это было легко с осени. — Мороки я вижу насквозь, вы знаете. Это не морок.

— Плохо. Морок сняли бы к обеду. За доски придётся искать хозяина.

— Я тоже так подумала.

Будка была дощатая. Свежая, некрашенная, из тех досок, которые ещё пахнут смолой, — с окошком, с лавкой внутри и с крышей в один скат. Поперёк дороги лежала жердь: одним концом на столбике, другим на верёвке, и верёвка уходила в окошко. А в окошке сидел мужик.

Мужик как мужик. Тулуп, шапка с ушами, борода в инее, рукавицы. На коленях — ящик с прорезью. Таких на любом рынке — дюжина на ряд, и ни одного не запомнишь, хоть гляди до вечера.

Будку Айра просмотрела насквозь — прикрыла глаза, как делала всегда, когда надо было поглядеть не глазами: позвала тьму на один вдох, по щиколотку, только чтобы видеть, и посмотрела сквозь неё. Так она смотрела на всё, что ей не нравилось. Доски, смола, гвозди, иней на гвоздях — всё настоящее. Ну и хуже.

— Здравствуйте. — Вежливо, без всякого рвения. — С пешего — медяк.

— Кем поставлена застава? — спросил ректор.

— Положено.

— Кем положено?

— Не могу знать, господин хороший. — Обиды в этом не было ни капли. — Стоит — стало быть, положено.

— Кому идёт сбор?

— В ящик.

— А ящик кому?

Он покосился на ящик, как на вопрос, которого ему ещё никто не задавал, и честно подумал.

— Ящику положено, — решил он наконец.

Ректор помолчал. Айра эту паузу знала: в ней он раскладывал перед собой варианты, будто бумаги на столе, и выбирал, какую подписать. Потом он вынул кошель — маленький, кожаный: платить ему приходилось редко и по счёту, и кошель это, похоже, знал. Достал медяк. Положил на доску окошка.

Айра посмотрела на медяк. Потом на него.

— Вы заплатили.

— Да.

— Человеку, которого сами не ставили.

— Я заплатил правилу. — Он убрал кошель. — Я не могу требовать с академии, чтобы она исполняла правила, которых не исполняю сам. Пока эта жердь стоит, она правило. Когда я выясню, чьё, я его отменю.

— А если не выясните?

— Тогда подпишу. — Он повернулся к жерди. — Мне доводилось находить у себя правила, о которых я не знал. Обычно они старше меня.

Мужик взял медяк рукавицей и опустил в прорезь.

И вот тут Айра перестала слушать ректора — на вдох, не больше, но перестала. Потому что медяк не звякнул.

Медь о дерево звякает всегда. За три года улицы она наслушалась, как падают монеты, — в тысяче ящичков, кружек, кошель и подолов. Медь звякает о дерево, звенит о медь, глухо стучает о тряпку — но звук есть всегда. У медяка нет другой работы, кроме как звякнуть. Этот упал в прорезь и умолк, будто под прорезью не было ничего. Ни дна, ни других медяков, ни ящика.

Мужик поправил ящик на коленях — одной рукой, как поправляют пустое лукошко. Ящик был лёгкий. Это она тоже увидела.

Запомнила. Куда ты их деваешь, милейший, я ещё узнаю. Не сегодня.

Она сошла с дороги на обочину, в иней, и иней под сапогом хрустнул. Туман стоял тут же, слоями, прошитыми инеем, и первый слой был ей по плечо. Слои считать она не стала: из дальнего на неё уже смотрел туман, не спеша, как смотрят на то, что рано или поздно само подойдёт ближе. Айра посмотрела в ответ, обошла столбик с жердью, сделала четыре шага по инею и вышла на чёрный камень с той стороны.

— Адептка Сол. — Это ректор, ей в спину. — Вы сейчас обошли правило по инею.

— Я обошла жердь. — Она отряхнула сапог. — Правило пусть стоит.

Сидевший в будке на неё не обиделся. Он на неё даже не посмотрел: обочина была не по его части. Его часть была жердь.

— Обходить — не запрещено? — спросил ректор у окошка. Он спросил это тем голосом, каким спрашивал у Отта, куратора двора, что там в списке.

— Обходить положено.

— И платить положено.

— И платить.

— Вы понимаете, что одно с другим не сходится?

— Не могу знать. — И было ясно, что он не врёт: он и правда не мог.

Полозья они слышали оба. Сзади, из тумана, с той стороны, откуда сегодня ехали все, — и полозья эти не скребли, а визжали: возчик гнал. Гнал — значит, сзади сидел кто-то,

кому не терпелось, и говорил это вслух всю дорогу.

Сани вылетели из тумана, увидели жердь и встали — лошадь встала сама, возчик только руками развёл. Медяк за сани он отдал в окошко молча, раньше всяких разговоров: возчиков на этой дороге спорить отучили. А с саней, не дожидаясь, пока они встанут окончательно, спрыгнула Тай.

Она была вся с мороза: щёки медные, от рукавов пар, и над плечами воздух чуть дрожал, как над печной заслонкой. Пахло от неё корицей и дорогой. Сундук она сгрузила одной рукой, будто пустой, поставила на камень, выпрямилась — и оглядела всё по порядку: жердь, будку, ректора с кошелём, Айру по ту сторону жерди — с инеем на сапогах и с ящиком.

— Так. — Тай кивнула сама себе. — Вижу.

— Адептка Ру, — напомнил ректор.

— За каникулы дисциплина нарушалась.

Это был не вопрос. Так Тай определяла погоду и дебош: поглядела — и знает.

— Мне мать велела поглядеть, как вы тут, — прибавила она. — Я поглядела.

— Что она велела передать? — Это Айра, быстро, чтобы Тай не успела развернуться.

— Что зимой приедет. Поглядеть, как топят. Я сказала — плохо. Она сказала — тем более. — Тай подумала и выложила остальное, раз уж начала: — Ещё она сказала: если там что-нибудь изменилось — не лезь. Я поглядела. Изменилось. Я не лезу, я запоминаю. — И обернулась к будке, и будка ей

понравилась ещё меньше, чем всё остальное. — А вот это что?

— Застава, — отозвались из окошка. — С саней медяк. С седока медяк.

— Я не седок. Я слезла.

— С пешего — как со всех.

— Я не как все. Я демонибка. — Тай подумала и честно уточнила: — Наполовину.

— С половины — полмедяка. — Без запинки: половины ему, видно, попадались.

— У меня нет полмедяка.

— Тогда положено целый.

Тай примерилась к жерди. Жердь была ей по пояс. Она была Клинок, и через вещи по пояс она перешагивала, не глядя, с первого курса.

— Через — не положено, — предупредили из будки.

— А под?

— И под.

— А если её... — Тай не договорила. Она смотрела на будку — на смолу на досках, на иней на гвоздях, — и над её плечами воздух дрогнул сильнее.

— Тай.

— Я только сказала. — Тай опустила руки. — Она деревянная. Я это только сказала.

И будке, отдельно, честно — как объясняют собаке, почему её не пустят в дом:

— Я не сейчас. У меня сундук. В сундуке гостинцы от матери, и если я сейчас начну, гостинцы сгорят первыми: они сверху. Я вернусь налегке.

Ректор достал кошель второй раз.

— Адептка Ру числится за академией, — сообщил он в окошко и положил медяк. — Академия платит.

Второй медяк упал в прорезь так же, как первый. Никак. Тай этого не услышала: она по части жара, а не тишины. Ректор услышал — она видела, как он задержал на ящике взгляд: чуть дольше, чем нужно. И ничего не сказал. Тоже, выходит, решил — не сегодня.

Жердь поднялась. Верёвка ушла в окошко, столбик скрипнул, и сани прошли под жердью, а за ними Тай с сундуком, а за Тай — ректор, своим шагом, который не прибавлял ни для кого. Айра ждала их с той стороны — она там и стояла.

— Ты чего там стояла? — спросила Тай.

— Обходила.

— Правило?

— Жердь.

Тай кивнула. Это она поняла целиком.

Обратно шли втроём, и сани скребли сзади. Тай шла посередине, потому что посередине она ходила всегда, — и шагов через двадцать покосилась налево, направо и сказала то, что видела:

— Вы теперь так и ходите?

— Как? — спросил ректор.

— Вровень.

Ректор шага не сбил, Айра тоже. Тай проверила ещё раз, налево и направо, и осталась довольна:

— Понятно. — И понятно ей было всё, до последнего. — Будку я присмотрела. Мало ли.

* * *

К полудню академия была полна, и про будку знали все.

Про неё знали раньше, чем про то, кто вернулся: сани въезжали в ворота с одним и тем же словом, и слово это было не «здравствуйте». Кто платил медяк — злился. Кто два — злился вдвое и объяснял, что он не родитель. Кто-то платил за себя и за двух сестёр и по дороге до двора успел придумать, кому он это припомнит. Стихоплёт выдавал по две строки на каждого воротившегося — новых, ни разу не отданных. К полудню голос у него сел до скрипа, а очередь у ворот стояла такая, что Айра засомневалась, кто тут застава.

Отт стоял в арке с листом и принимал воротившихся по списку.

Поодаль, не в арке, а в тени арки, стоял магистр Ольдер из реестровой службы — сухой, сутулый, с ключами на поясе, обшитыми кожей, чтобы не звенели. С утра он ходил на дорогу смотреть будку и, рассказывали, обошёл её дважды по большому кругу, не касаясь, потом всё-таки тронул угол — быстро, как проверяют, не горячая ли печка, — и пошёл

обратно, оглядываясь через плечо.

— Вернулись. По списку. — Отт отмечал, не поднимая глаз. — Кто не по списку — тот не вернулся.

— Я вернулся, — говорил кто-то.

— Проверим.

Парень с сундуком, тот самый, дядин, стоял в кучке первокурсников и рассказывал, что заплатил медяк. Ему не верили: у первокурсников медяков не бывает. «Дядя дал», — говорил он, и ему не верили ещё больше.

Первокурсников за две недели все успели забыть, и теперь они стояли в дверях Корпуса тесной кучкой, по-осеннему, — только сундуки у них были уже потёртые, а лица нет. Одна из них — невысокая, серая, из Архива, с косой через плечо — держала руку поднятой. Не тянула, не махала — держала, как держат фонарь. Отт прошёл мимо неё дважды.

— Вопросы запрещены, — бросил он на третий раз, не останавливаясь.

— Я не спрашиваю. — Руку она не опустила. — Я показываю, что есть.

— Что есть?

— Вопрос.

Отт остановился. Вопрос, который не задают, а показывают, в его листе не значился, и он постоял, соображая, куда это отнести.

— Не запрещено, — решил он наконец и пошёл дальше. Рука осталась поднятой.

Ула, вспомнила Айра. Осенью про эту руку рассказывали: торчит на каждой лекции Эйна, и Эйн отвечает ей, не просыпаясь.

Ну, держи. У тебя вся зима впереди.

Верен вышел из Архива с сумкой на плече — с дорожной сумкой, застёгнутой на все ремни, — и встал в общий поток, в самый хвост, для порядка.

— Верен, — окликнула Айра. — Ты же не уезжал.

— Не уезжал. — Он поправил очки. — Я был в Архиве. Там тепло и никого нет, это лучшее, что бывает с Архивом.

— А сумка?

— Все с сумками. — Он огляделся, проверяя, все ли. Все были. — Я не хотел выделяться. Это неосторожно в день начала занятий.

Он прошёл мимо Отта. Отт отметил его в списке как вернувшегося. Верен не возразил: спорить с листом было ещё неосторожнее.

У столба с доской фонда объявил голос: фонд принимает. Голос был Тевров. Самого Тевра во дворе не видели с осени: взял по доброте чужое кольцо, кольцо село на палец и сходить не собиралось, а кто его носит, того не видно. Доску, по крайней мере, видели все, и на доске стояло: кто поставил будку — ставки принимаются. На Скарба, кладовщика, не принимали вовсе: «нечестно», отрезал голос, «Скарб из кладовых не выходит, это все знают». Кессельроде прошёл мимо доски со свитой, четверо в красном за плечом, и не

поставил ни медяка. Айра проводила его глазами и решила, что ей это нравится меньше, чем если бы поставил.

Расписание висело на том же столбе, под доской фонда, — один лист, четыре гвоздя: сверху ставки на будку, снизу — кому завтра куда идти. Виерна вышла к столбу, когда там уже гудели вернувшиеся, и встала рядом так, будто лист повесила не она, а он сам. Здраваться она не стала — не водилось за ней такого. Притихли без окрика: перед деканом Тени притихал любой курс, даже тот, на котором с её факультета и десятка не набиралось.

— Занятия с завтрашнего дня, — сказала она листу. — С утра. Кто не выспится с дороги, не выспится и на занятии, это одно и то же время. — И, уже отворачиваясь, в ту сторону, где стояла Айра: — Будка на дороге — морок, адептка?

— Не морок, госпожа декан.

— Жаль. Морок такого размера я бы кому-нибудь засчитала за год.

И ушла, а лист остался, и у столба задышали снова. Айра пробежала лист глазами — не читать, читала она медленно, а найти своё — и нашла: подвал, утро, «след». Ну и ладно: след она читать умела, а оставлять — умела не оставлять, и это Виерна тоже когда-нибудь засчитает.

Столовая в этот день пахла всем сразу: за каникулы в ней не осталось ни души, и разом вернулись все. Капуста, горячий хлеб, мокрая шерсть и сотня разговоров, из которых не слышен ни один. Марга стояла у раздачи с черпаком и гляде-

ла на очередь с лицом человека, которому полмесяца некого было кормить и который эти полмесяца помнит. Тай села за стол Тени — она с Клинка, а место за этим столом заняла в первый же день, — и Тень, как всегда, сделала вид, что так и надо.

Разговор за столами шёл один — про будку, — и к вечеру набралось четыре версии, кто её поставил, и все четыре считались верными разом.

— Это Совет, — объявила Тай за столом Тени так, чтобы слышал и стол Клинка. — Совет всегда сначала берёт медяк. Потом — всё остальное. Мать так говорит, а мать с ними дело имела. Про что — не скажу, это семейное. — И взяла второй хлеб, потому что за такие слова, по её разумению, полагалось поест.

— Да это городские, — говорили за столом Архива. — Ходят тут люди туда-сюда без дела — пусть платят.

— А может, это... ну... никто? — предположил дядин парень, и первокурсники притихли. — Просто мужик решил денег пособирать с дураков.

Айра ела и молчала. Ректор заплатил дважды, а дураком его в этой академии ещё никто не называл, и додумывать эту мысль за столом она не стала.

Четвёртую версию принёс Торп — от пленницы, где дворня пила свой чай и где он один из всей столовой догадался спросить.

— Спрашиваю: кто? — рассказывал он за столом. — А

они мне пальцем — вверх. Сам, говорят. Который наверху. Я говорю: Праг, что ли? Они на меня как на дурака: Праг же внизу. Ну, говорю, мало ли. — Торп помолчал, как, должно быть, помолчал и тогда. — Оказалось — ректор. Сам. У них так положено.

Сам так Сам. Новый сбор: зима, дрова, платить нечем — вот и придумал, а чтобы видели, первым и заплатил. Версия была складная, и приняли её сразу, а раз уж её принёс Торп, к завтрашнему утру её будут знать все.

Айра и тут промолчала. Она видела, как он платил, и слышала, как медяк не звякнул, — из этих двух вещей складывалось что угодно, только не новый сбор. Объяснять это Торпу было незачем: складную версию он на правду не променял бы.

Ладно. Пусть у них будет своя будка. А у меня — моя.

Свечу в фонарь Стихоплёта она понесла в сумерках — заведённый с лета порядок: лампы Корпуса начинали линять, двор пустел на ужин второй смены, и она шла к воротам. Ящик остался наверху: свеча в одной руке, кремёнь в другой, дорога знакомая.

Кот пошёл с ней. Он вообще-то с короба слезал редко, но короб сегодня был под присмотром — двое каменных, и присмотра у них хватало на троих, — и Кот, видно, решил, что вечером ему полагается прогулка. Он шёл рядом, тяжёлый, чёрный, драное ухо вперёд, и по снегу за ним оставались вмятины: их видел всякий, а его — никто.

Стихоплёт в нише молчал. Не сочинял — молчал: веки опущены, рот закрыт. За день он выдал по две строки на каждого, кто вернулся, и теперь, надо думать, был со всеми в расчёте.

Айра открыла фонарь, поставила свечу, чиркнула кремнем — раз, второй, с мороза всё делается со второго раза, — и огонёк взялся. Она закрыла стекло. Свет лёг на чёрный камень ниши, на каменное колено, на черту, стёртую тремя сотнями лет подошв.

И на жердь.

Жердь лежала поперёк дороги в трёх шагах от ниши. Одним концом на столбике, другим на верёвке. Верёвка уходила в окошко, а в окошке сидел мужик — тулуп, шапка с ушами, борода в инее, рукавицы. Будка была дощатая, свежая, из тех досок, что ещё пахнут смолой. Утром её здесь не было. Весь день у ворот стояла очередь — при Стихоплёте, при Отте с листом, при полном дворе, — и никто за ужином не обмолвился, что видел, как будку везут, ставят или сколачивают. А про будку за ужином говорили все. Она тут выросла за день, гриб грибом.

Кот прошёл под жердью, не останавливаясь, и двинулся дальше по дороге, по своим делам. Из будки его не окликнули: его там не видели. Единственный во всей академии, кому всё положено бесплатно.

Стихоплёт на будку не глядел. Будка не входила и не выходила — значит, по его части не проходила. Айра стояла,

зажав в кулаке кремень, ещё тёплый от ладони, и смотрела на жердь у собственных ворот.

Медяк — это не деньги. Медяк с каждого, кто войдёт и выйдет, — это уже жалованье. Чьё — вот и вопрос.

— Положено, — сказал мужик. Вежливо. Не дожидаясь вопроса.

Глава 2. Будки

За ночь будки размножились. Как это у них вышло, не видел никто, а к утру у колодца стояла своя — дощатая, свежая, с окошком, всё как у той на дороге. Только жердь у неё лежала не поперёк дороги, а поперёк колодезного сруба. Кто за водой — медяк.

Марга пришла первой, с двумя вёдрами, и Айра с крыши поварни видела всё: как она поставила вёдра, как посмотрела на будку, как сходила за черпаком. Черпак был длинный, кухонный, и на будку он не произвёл никакого впечатления.

— За воду, — это Марга будке, — платят в городе. У нас, стало быть, город?

— Положено, — ответили из окошка.

— Кем?

— Не могу знать.

Марга подумала. Айра с крыши видела, как она думает: черпак ходил в руке вверх-вниз, как хвост у кошки, которой не нравится, но она пока терпит.

— За одно ведро, — определила Марга. — Второе я тебе не заплачу. Второе я из бочки возьму.

И заплатила: вынула медяк из кармана фартука, положила на доску окошка, и медяк ушёл в прорезь без всякого звука, будто под окошком не ящик, а дыра. Марге было некогда прислушиваться. Айра прислушалась и запомнила. Жердь

поднялась, Марга набрала ведро, а второе понесла пустым: на кухне стояла бочка, налитая ещё до всяких будок, и до бочки будка пока не додумалась.

Одно ведро за медяк — выходит, сегодня поят через раз. Ну, спасибо, что не через два.

Айра слезла с крыши по водостоку — руки в рукавицах, рукавицы на льду, всё как положено — и пошла считать.

Считать было что. Будка у колодца. Будка у входа в Корпус: с входящих медяк. Первокурсники стояли перед ней кучкой, как вчера перед Оттом. Только Отта, поди, можно было уговорить, а будку нет. Будка у дверей Архива. Будка у бани — с каждого, кто мыться. И у самых ворот — вчерашняя, та, что выросла за вечер, пока она несла свечу.

Пять. Вчера утром, между прочим, была одна, и та на дороге. Айра шла по двору, держа руки за спиной — от греха.

У Корпуса стоял ректор.

Перед будкой, с кошелём в руке — и по тому, как он держал кошель, было ясно, что достаёт его не первый раз. Первокурсники расступились, и Айра встала так, чтобы видеть его лицо. Лицо было вроде бы обыкновенное — лицо человека, который платит за вход к себе и ведёт этому счёт.

— Пятый. — Это он ей, не оборачиваясь, и положил медяк на доску. — Два на дороге, колодец, ворота, Корпус.

— Вы и у колодца?

— Я пью воду.

— Вы ведёте счёт.

— Чтобы знать, сколько мне вернут.

— Кто?

— Тот, кто это поставил. — Жердь поднялась, и он прошёл. — Когда я его найду.

Она прошла следом — не под жердью, а сбоку: у входа в Корпус, если знать, есть ступенька, на которую жердь не ложится. Из окошка на неё посмотрели без интереса. Кто прошёл мимо жерди, тот для них и не проходил. Это она поняла ещё вчера, а сегодня проверила: мимо жерди не окликают и не считают.

Внутри было хуже. У кабинета ректора, на третьем этаже, стояла ещё одна — маленькая, втиснутая между скамьёй и дверью. Но с окошком и с жердью, и жердь лежала поперёк двери кабинета.

— С хозяина — как со всех, — объявили из окошка.

Ректор помолчал. Дисциплина на подоконнике приёмной подняла голову и посмотрела на будку, как на новую мебель, которую никто не заказывал. Айра ждала, что он скажет «положено». Он не сказал. Он достал шестой медяк, положил на доску и ответил будке:

— Пока не найду.

И вошёл к себе. Дверь за ним закрылась, жердь легла обратно, и Айра осталась в приёмной с кошкой и с будкой — вдвоём против одной.

Урок у Виерны был в подвале, с утра, и у двери подвала стояла своя будка со своим мужиком.

К будке Тень подошла всей горсткой: Юст, Ним, Кейра и Айра. Тевр был при мастерской и всё ещё невидим: осеннее кольцо с пальца не шло. Учиться следу ему сегодня было не с руки: у Виерны его и так не видно.

— С учёных — как со всех, — объявили из окошка.

Юст полез в карман. В кармане у него, как почти у всех, было пусто. Оттуда он вынул тетрадку — ту самую, «выдано — принято», в которой вёл счёт всему, что уходило из его рук.

— Выдано, — начал он вслух и остановился, потому что выдавать было нечего. — Ладно. Выдано — ничего. Принято — тоже ничего. Так и запишу, в обе графы.

— Запиши, — разрешила Айра. — Однажды эта тетрадка кого-нибудь спасёт.

— Я тоже так думаю. — Юст закрыл тетрадку с достоинством.

У Ним медяк был: у Ним всегда что-нибудь есть. Она его вынула, показала окошку — как показывают собаке кость, которую не дадут, — и убрала обратно, в тот карман, про который знала одна она.

Виерна пришла последней и остановилась перед будкой на один взгляд, не дольше. Смотрела она, как всегда, не на будку — на тех, кто на будку смотрит.

— Занятие «след», — сказала она. — Первое после каникул. Вещь без следа не бывает, адепты: всякая вещь откуда-то пришла, и там, откуда пришла, что-то осталось. — И, не поворачивая головы: — Это не морок. Значит, у неё есть след. Найдите. В подвал не входим, пока не найдёте.

— А платить? — спросил Юст.

— Найдёте след — узнаете, кому.

Тень разошлась вокруг будки, как вокруг чужой телеги на рынке: не трогая, глядя под ноги. Айра пошла по кругу первой. Читать следы она выучилась раньше, чем буквы, и три года на улице этим кормилась. След у этой вещи должен был лежать где-то здесь: волок, ноги, щепа — ну хоть один гвоздь, оброненный тем, кто сколачивал.

Ничего.

Пыль на каменном полу лежала каникулярная, нетронутая, от лестницы до самой двери: две недели сюда никто не спускался, и следы Тени были в ней первыми. Будка стояла на пыли, как стакан на скатерти: ни дорожки к ней, ни борозды от угла, который волокли. Доски были свежие, а щепы под ними не было. Гвозди новые — а ни одного не валялось.

— Следа нет, госпожа декан, — доложил Юст, обойдя круг трижды: по разу на каждую надежду.

— Нет, — подтвердила Кейра. Она обошла один раз и больше не стала: ей хватило.

— И гвозди все, — прибавила Ним, которая первым делом проверила гвозди: по её опыту, пропадать начинают с

мелочи. — Ни один не выпал. Так не сколачивают.

Айра — последней и коротко:

— Не приносили.

— Не приносили, — повторила Виерна. — Запомните это, адепты, и не записывайте: вещь без следа — это вещь, которая тут выросла. Такие бывают. Их не приносят, их разводят. — Она посмотрела на будку ещё раз, как на чужого ученика. — Метод засчитан. Занятие не окончено: оно продолжается, пока не найдёте, от чего они заводятся и кто развёл. В подвал не входим: за вход берут, а я за него не плачу.

И ушла, прямая, застёгнутая до горла, и ни одна доска в будке не скрипнула ей вслед.

«Их не приносят, их разводят». Спасибо, госпожа декан. Значит, будку у моего колодца кто-то развёл. Как кроликов. Или как дурака на рынке — и тогда дурак тут я. Осталось узнать кто — и чем травят. Вот и всё занятие. На всю зиму, поди.

Большая аудитория была наверху, и туда они поднялись все вместе: Юст сказал, что пропускать не положено, Кейра — что Эйн всё равно не заметит, и обоим хотелось убедить-ся.

Будки добрались и сюда. Эта стояла у самых дверей, а перед ней топтался сам лектор Эйн, тот, что читал всем трём факультетам с девяти, с хроникой под локтем и в том виде, в каком он приходил к девяти: наполовину проснувшись. На будку он глядел одним глазом. Второй он, надо думать, бе-

рёг.

— С учёных — как со всех, — объявили из окошка.

— Учёных, — повторил Эйн. — Хм. — Он подумал столько, сколько думает человек, решающий, просыпаться ему или нет. — Мытники.

— Кто? — спросила Айра.

— Мытники. — Эйн посмотрел на неё вторым глазом, и это было редкое зрелище. — Заводятся от проверок. Лет тридцать назад такое уже было: проверяли много, всё подряд, всех — и завелись. Стоят и берут. Люди платят, потому что положено, а положено — потому что стоят. — Он зевнул. — У нас считали? Считали. Прошлой зимой считали, весной считали, а этой осенью Совет привозил машину и считал всем кровь. Три проверки за год. Вот и завелись. Ничего особенного.

Тень стояла вокруг него молча. Юст открыл тетрадку — записать — и закрыл: слово было не для тетрадки.

— А как их вывели, лектор? — спросила Айра. — Тридцать лет назад.

— Вывели... — Эйн задумался. Глаз закрылся. Второй закрывался медленно, нехотя, как ставень на ржавой петле. — Вывели их, помню, зимой. Кто-то приехал... или уехал... И они... — Он привалился плечом к косяку аудитории, хроника сползла из-под локтя ниже. — ...они...

И уснул — стоя, у будки, на полуслове, с открытым ртом, как засыпал на всех своих лекциях. В окошке терпеливо жда-

ли медака.

Юст осторожно потряс лектора за рукав, лектор всхрипнул и не проснулся. Кейра посмотрела на Айру, Айра на Кейру, и обе решили одно и то же: разбудить Эйна ещё никому не удавалось, а тем, кому удавалось, он потом отвечал вопросом на вопрос.

Первокурсники Архива — тонкие, серые — взяли его под локти, как брали, видно, не в первый раз. Лектор не сдвинулся: спящий стоя, он себя не держал и повис у них на руках всем весом, как мешок муки, и его бережно прислонили обратно к косяку. Ула стояла последней, с поднятой рукой — на всякий случай.

К обеду академия узнала слово, и слово ей понравилось: мытники — это уже не «кто-то поставил», это имя, а имя можно ругать. Ругали у колодца, у Корпуса, у аудитории, где Эйн так и стоял, привалившись к косяку, а будка при нём ждала. К обеду же у столба с доской фонда голос Тевра объявил, что фонд возмещает. Кто заплатил будке — тому медак обратно: «это не плата, это грабёж, а грабёж фонд не признаёт». Очередь к столбу выстроилась длиннее, чем к колодцу. Жестянка фонда пустела на глазах — медак за медак, честно, до последнего. Самого Тевра было не видно, а честность его была видна и так. Последний медак ушёл до сумерек.

— Фонд пуст, — доложил голос Тевра. — Первый раз с тех пор, как он есть. Я проверял.

— А завтра? — спросили из очереди.

— Завтра фонд принимает. Угадываем заново, кто их поставил. Медяков нет — значит, принимает бесплатно.

Скарб сделал проще. К кладовым, что внизу, будка тоже добралась — с каждого, кто за припасом, медяк, — и Скарб при ней не задержался ни на шаг: вошёл к своим вещам и запер дверь изнутри. Припасы наверх с тех пор не поднимались. Марга послала к двери мальчишку с ведром, потом Тобба с топором, потом пошла сама и взяла Айру — нести. Нести было нечего. Из-за двери, на стук, Скарб ответил один раз — голосом человека, у которого вещи живут семьями:

— Вещи не платят. Я при вещах. Сорок лет только запираю — теперь и подавно.

Марга постояла перед дверью с тем лицом, с каким на кухне объявляют постные дни, повернулась и пошла наверх. Айра пошла за ней с пустым ведром: ведро, как-никак, надо было вернуть.

* * *

В мастерскую она пришла вечером — не через дверь. У двери в мастерскую, как и у всех дверей, стояла будка, и Серак, судя по звуку изнутри, чинил засов и на будку внимания не тратил: будка была не его.

Окно мастерской смотрело во двор, низкое, полуподвальное, и с осени его не запирали. Айра вошла в него так, как

входит человек, для которого окно — дверь: боком, ногами вперёд, не задев ни стекла, ни рамы.

— Это я, — предупредила она, потому что в углу — если он никуда не делся — сидел Тевр, невидимый, а невидимых лучше предупреждать: у них слабые нервы.

— Я знаю, — отозвался угол. — Кот на тебя смотрит.

Кот занимал крышку короба, как все эти дни, и на неё действительно смотрел — взглядом, припасённым для тех, кто лезет в окно, когда у всех есть дверь. Двое каменных стояли по обе стороны короба, головы вниз, руки на рукоятях. Горн остывал, и пахло железом, окалиной и сухим дубом.

Серак от верстака не обернулся.

— Будка не пускает? — спросил он засов.

— Будка пускает. За медяк.

— У тебя есть медяк.

— У меня есть окно.

— Разумно. — Засов он держал двумя пальцами, как держат живое. — Я бы тоже в окно. Но у меня верстак.

Она подошла к коробу — проверить, как проверяла все эти вечера: крышка на месте, Кот на месте, каменные на месте, — и положила ладонь на дуб рядом с Котом, потому что так делала всегда.

Знак под рубахой вспыхнул.

Знак у неё под рубахой теплел у этого короба всякий раз, как она сюда приходила, тихо, будто здоровался. Сегодня не потеплел: вспыхнул жаром, будто кто-то поднёс к нему

уголь, и на один вдох, не больше, она увидела на крышке не свою ладонь. Чужие руки, две, крупные, мужские: они подняли эту самую крышку и опустили в короб два камня, те самые, которые не разнять, один за другим, бережно, как в колыбель. Потом крышка легла, и руки ушли. Крышка была крышкой, ладонь — её ладонью, а Знак остыл сразу — как не было.

Она не отдёрнула руку. Отдёргивать — значит показать, а показывать было некому: Серак чинил засов, Тевр сидел в углу.

Знак греться умел. Показывать — нет. А показал.

Кот смотрел — на её ладонь, потом на неё. Потом отвернулся к стене. Хуже этого он ничего сделать не мог: отворачивался Кот редко и только тогда, когда понимал больше, чем ему полагалось.

— Что-то не так? — спросил Серак, не оборачиваясь: у него было чутьё на руки, которые замерли.

— Всё так. Задумалась.

— Здесь не думают, — заметил Серак. — Здесь чинят. Думать ходят вверх.

И то правда.

Она ушла тем же окном. Во дворе было темно, лампы Корпуса линяли, и в будках светились окошки — тускло, одним и тем же светом, ни одно не мигало, — а вокруг будок лежал снег без единого следа. У ближней стоял магистр Ольдер и объяснял двоим первокурсникам, что это попечительная ме-

ра и что столица совершенно спокойна. Ладонь он держал поднятой — предупреждая вопрос, которого никто не задавал. Первокурсники ушли от него быстрым шагом и, кажется, за свечами.

Ещё одно окошко светилось у её собственной двери.

Будка стояла в коридоре крыла Тени, под самой её дверью, — маленькая, как та у кабинета, с жердью поперёк порога, — и из окошка на неё взглянули, как на всех.

— С жильца — медяк.

С жильца. Значит, я теперь жилец. Три года меня выселяли отовсюду, где я ночевала, а тут — пожалуйста: ты жилец, с тебя медяк. Дожила.

Медяк у неё был. Медяки у неё водились всегда — три, шесть, сколько надо, — но платить за вход в собственную комнату она не стала бы и при полном кошеле. Была своя дверь и своё окно, а окно, если знать, выходило на карниз, карниз — на водосток, водосток — во двор. Ночевать в комнате можно было и через окно — это она умела, пожалуй, лучше всех в этой академии.

Она постояла перед жердью — недолго, столько, чтобы всё посчитать, как считала всегда. Потом слезла в окно и вынесла оттуда одеяло. Спать тут она не собиралась, одеяло брала, чтобы наверху не просить у него. И пошла наверх.

Расчёт был простой: за её дверь берут, за его — нет. У его двери — не кабинета, а той, что в комнаты, над которой с осени сидит беглый огонёк, — будки не было, это она заме-

тила ещё утром и запомнила, как запоминала всякое место, где не берут. Почему не было — она подумала и решила, что знает: будка садится туда, где уже за что-нибудь брали. А за эту дверь не брали никогда: туда ходят в гости. Она сама и ходит.

Дисциплина на подоконнике приёмной даже не подняла головы: пустые руки она уже видела, одеяло её не касалось, а будку у скамьи она не одобряла с утра.

Огонь в очаге горел. Ректор сидел у стола, и перед ним лежали медяки — в ряд, будто улики.

— Восемь. — Это вместо здравствуйте. — Я ходил к Эй-ну. Колодец второй раз, кабинет второй раз.

— Казённых?

— Половина. Половина — мои. Я веду два счёта.

Она села на второй стул — тот, что стоит у окна с той осенней ночи, когда каменные встали при коробе.

— У моей двери будка.

— Я видел. Я проходил.

— У вашей — нет.

— Я заметил.

— Вот и я заметила.

Он помолчал — не подбирая ответ, а как молчат, когда ответ есть и он неприятный.

— Это не решение, адептка.

— Это бухгалтерия. Где не берут, там и ночуют. На улице это первое правило.

— Второе, — поправил он. — Первое — где кормят.

— Где кормят, теперь через раз.

Спорить он не стал: воду через раз он пил сам. Он встал, взял с её колен одеяло и повесил у очага греться — спиной к ней, молча, по-хозяйски: вещь с мороза. Про будку у её двери он больше не сказал ничего. И она ничего: сказать пришлось бы правду, а правда была такая — медяк у неё был, окно у неё было, и пришла она не из бухгалтерии. Ей хотелось сюда. Список того, о чём она никому не расскажет, стал длиннее на пункт.

— Эйн уснул, — это она ему в спину. — На «как вывели».

— Я знаю. Я был там после вас. Он спит стоя.

— И?

— И будка ждёт. — Он повернулся. — У нас медяков на три дня. Потом академия перестанет входить в свои двери. И тогда поглядим, что мытники делают с теми, кому платить нечем. Эйн этого не помнит, и я думаю, что до этого не дошло: тридцать лет назад их вывели раньше.

— Кто?

— Он уснул на этом слове. — Ректор сел. — Я буду будить его каждое утро. Это входит в мои обязанности.

Одеяло у очага высохло к утру.

* * *

Тай встретила её у колодца — с лицом человека, который

ночью совершил поступок, — и первым делом посмотрела на одеяло у неё через плечо: домой его было не занести, дома брали. Потом — на неё, с прищуром.

— Дисциплина нарушалась, — доложила Тай. — Опять.

Ответа она не ждала. Прищур сошёл сам, и Тай переступила с ноги на ногу — чего Айра за ней не помнила.

— Ну да ладно. Тут такое дело... — Она посмотрела на колодец. — В общем, я её сожгла. Ночью. Ту, что у колодца.

Будка у колодца стояла. Такая же: доски, окошко, жердь поперёк сруба. Вокруг неё, на снегу, чернело кольцо углей — круглое, как от костра, — и от углей ещё тянуло горелым.

— Она стоит.

— Значит, плохо сожгла? — Тай посмотрела на будку с личной обидой. — Нет. Я её хорошо сожгла. Я всё сделала как надо. Дождалась, пока внизу пройдёт патруль: он ходит в двадцать минут и без двадцати, я это с первого курса знаю. Полена взяла четыре. Нет, пять: одно на растопку, оно не считается. Подошла с наветренной стороны, чтобы дым на Корпус, а не на плац: у нас Брек по дыму просыпается. Мужик вышел, встал рядом и смотрел. Я тоже стояла и смотрела. Горела она хорошо, честно, до углей — я даже подумала: ну вот, а говорили, что дебош у нас запрещён. Потом ушла спать. Утром — вот.

— А мужик?

— Сидит. Тот же или другой — я не разглядывала. Они все на одно лицо, а я одно лицо не запоминаю, это не моё.

— Тай.

— Я только говорю, что это был не дебош. Дебош — это когда не вырастает обратно. — Тай поправила половник за поясом: она носила его теперь, как нож. — Зато я теперь про них всё знаю: они горят. Просто потом вырастают. Это тоже знание. Осталось попробовать всё остальное, и я составила список. Он длинный. Половник в нём первый. Будку я всё равно присмотрела. Просто теперь — другую.

Айра посмотрела на угли. Угли были настоящие. Будка над ними — тоже. Из окошка на них с Тай глядели так же вежливо, как вчера и позавчера, и ждали медака за воду.

Сгорела и выросла. За ночь. Спасибо, Тай: теперь мы знаем, чем их не травят. Огнём. Ладно, одним способом меньше.

От ворот закричали — не «медяк», а «едут!» — и Айра пошла к воротам: смотрительнице положено видеть всё, а этого «всего» сегодня, видать, прибавилось.

С надвратной кладки, если встать на выступ у ниши, дорога была видна далеко — до того места, где туман съедал её целиком. Вчерашняя будка стояла на своём месте, у самых ворот, с жердью поперёк дороги. А по дороге, из тумана, шёл обоз.

Не сани: сани скребут, а этот обоз шёл без единого звука. Впереди плыли сундуки — сами, без рук, ребром, как льдины, — за сундуками шляпная коробка, за коробкой — носильщики, серые насквозь, в ливреях столетней моды. Чёрного камня никто из них не касался: шли над ним, на ладонь

выше. Позади носильщиков, не спеша, двигались трое: дама в мехах, которые сидели на ней безупречно и были мертвы не первый век, — и две девочки, обе в шубках, серые и прозрачные, как мать. Девочки глядели по сторонам.

Хладная Графиня возвращалась — как всякую зиму, из северных земель, где проводила лето: летом тут, на её вкус, слишком много живых. Она жила в этих стенах дольше самих стен, и старшие говорили про неё одно: вернулась — значит, зима легла. На живых она не смотрела: у живых, объясняла она девочкам, бывает столько болезней.

Обоз шёл к воротам. На дороге, между обозом и воротами, стояла будка, и жердь лежала поперёк, и в окошке сидел мужик — вежливый, терпеливый, положено.

Айра стояла на выступе и смотрела, как сундук — первый, углом вперёд — подходит к жерди.

С покойницы — как со всех. Ну-ну. Вот на это я погляжу.

Глава 3. Зима легла

Сундук дошёл до жерди и не остановился.

Айра ждала, что он хоть притормозит — всё-таки вещь, углы медные. А он прошёл сквозь жердь, как проходят сквозь дым: жердь осталась лежать, сундук поплыл дальше, и ни та, ни другой друг друга не заметили. Следом второй сундук, следом шляпная коробка, и вот коробка на жерди застряла. Ткнулась в неё, покачалась и встала. Носильщик — серый, в ливрее, из тех, кому давно не платят, — подошёл и протолкнул её плечом. Привычно: эта коробка, надо думать, застревала везде, где было за что.

— С поклажи — медяк, — потребовали из окошка.

Сказали в пустоту: сундуки уже шли к воротам, коробка — за ними, а носильщики над медяком не задумались ни на шаг. Мужик в окошке проводил их взглядом — без обиды, не по его части — и повернулся к тем, кто шёл следом.

Айра тоже повернулась. На выступе у ниши было место на одного, и она это место занимала. Потом сзади влезла Тай — с половником за поясом и с таким пыхтением, будто выступ был крепостью, а она его брала. Теперь на выступе стояло полторы, и половина висела над двором.

— Ну? — спросила Тай. — Что там?

— Смотри сама.

Тай посмотрела вниз, на дорогу, где из тумана выходили

трое. Впереди всех, как выяснилось только вблизи, плыл слуга со светильником: издали его было не видать, потому что светильник ничего не освещал — в том числе и самого слугу. Свет у призраков, видно, не для дела, а для чина. За слугой шла дама в мехах. Меха умерли давно, раньше здешних стен, а сидели как на живой: без единой складки не по делу. По обе руки от неё — две девочки в шубках, серые, прозрачные. Головы у обеих ходили по сторонам, как у всех девочек на свете, которых привезли туда, где они не были всё лето.

Мороз пришёл раньше обоза. Айра почуяла его подошвами — по кладке, снизу, как из погреба, — и только потом увидела, что иней на жерди пошёл гуще.

Ну, здравствуйте. С приездом. У нас тут кое-что завелось без вас.

— С пешего — медяк, — сообщил мужик светильнику.

Слуга прошёл сквозь него. Не сквозь будку — сквозь мужика: вошёл в окошко и вышел из задней стенки, и светильник вышел следом, всё так же ничего не освещая. Мужик даже не поёжился. Обочина его не занимала, а ходить сквозь него, выходит, тоже.

— С покойницы — как со всех. — Это он даме.

Вот это Айра слышала. Она и сама, пока Графиня шла, успела подумать: с покойницы, поди, как со всех. Подумала для себя, на выступе. А теперь это сказали вслух, с дороги, и вышло не смешно. Вышло, как всё у них: положено.

Графиня на него не посмотрела. Она вообще ни на что не

смотрела: ни на жердь, ни на будку, ни на мужика в окошке. Шла, как у себя, где всё на местах и глядеть не на что. Одна девочка — младшая, та, которую прошлой зимой на балу звал танцевать первокурсник, — обернулась на окошко. С любопытством: новое.

— Не смотрите, девочки, — велела Графиня. Голос — сквозняк под дверью, как всегда. — Здесь никого нет.

И прошла сквозь будку.

Будка стояла. Один вдох — столько, сколько стоит вещь, которой ещё не сказали, что она кончилась. Потом окошко просело внутрь, крыша в один скат легла на лавку, лавка — на пол. И всё это, доски, гвозди, смола и мужик в тулупе, осело в одну кучу, серую и тихую, как зола в холодной печи. Жердь легла на пыль. Верёвка от жерди уходила теперь в ничто и лежала на дороге, как лежит верёвка, когда с того конца отпустили.

Тай рядом сказала «ох». Тай никогда не говорила «ох».

Обоз шёл дальше — к воротам, — и Графиня шла с ним, не сбавив, а девочки оглянулись обе: на кучу, потом на мать. Мать не оглянулась.

— Она их... — Тай искала слово, — не посмотрела?

— Не посмотрела.

— И всё?

— И всё.

— Так и я могу!

— Ты не можешь.

— Я на Брека так не смотрю, когда он орёт. Он тогда орёт громче, но это его дело, а я стою и не смотрю. Второй год. Я умею.

Тай перевела глаза на вторую будку — на ту, что стояла у самых ворот, под нишей, прямо под ними, — и не посмотрела на неё. Не смотрела она так, что смотреть больше было не на что. Лицо у неё стало каменное, шея прямая, взгляд — вверх, в туман, где нет ничего. Половник за поясом ходил ходуном.

Будка у ворот стояла. Мужик в окошке ждал медяка.

— Она стоит, — сообщила Айра.

— Я на неё не смотрю!

— Ты на неё дышишь.

— Я живая! Мне положено!

— Вот и она про то же.

Тай выдохнула — всё разом, с паром — и посмотрела на будку прямо, обиженно, как давеча на угли.

— Значит, это не дебош, — определила она. — Это покойница. Покойницей я быть не согласна. Пусть сама.

— А половник зачем?

— Против мужика в будке половник лучше ножа. Нож режет, а половник объясняет. — Тай похлопала по нему, как по плечу. — Марга сама дала. Сказала: «Верни». Верну, когда объясню.

Сама и шла. Обоз подходил к воротам, и внизу, у арки, притихли: Тобб с топором на плече, двое с вёдрами, кто-

то из первокурсников, кто вышел на «едут» и теперь жалел. Стихоплёт в нише век не поднял. Сундуки прошли сквозь жердь, коробка застряла и была протолкнута, слуга со светильником прошёл сквозь мужика. Мужик выговорил своё «с покойницы — как со всех» тем же голосом, что и тот, первый. Может, это и был тот, первый. Кто их разберёт.

Графиня прошла сквозь.

Будка у ворот сложилась так же: вдох — и куча. Пыль даже не поднялась. Легла сразу, всей кучей, — и жердь легла сверху, и Тобб внизу снял топор с плеча и поставил на снег, чтобы не держать.

Девочка — младшая — оглянулась ещё раз: на кучу, на ворота, вверх, на выступ, где стояло полторы, — и нашла Айру. И, пока мать не видела, кивнула — воровато, быстро, как кивают через забор, когда нельзя.

Айра кивнула в ответ. Воровато кивать она могла бы учить тут кого угодно, и ей было не жалко.

— Не смотри на неё, — велела Графиня, глядя перед собой. — Живые, если на них глядеть, решают, что их видели.

И семейство ушло в стену. Слева от ворот, где кладка шла глухая, — как всякую зиму. Камень принял всех по старшинству: сундуки, коробку, носильщиков, слугу, даму, девочек, и светильник последним. Мороз ушёл с ними. По кладке, через подошвы, обратно в погреб.

Внизу лежали две кучи. Одна на дороге, другая у ворот. Стояли и глядели на них — Тобб, первокурсники, кто с вёд-

рами: за это, как-никак, платили.

Здесь никого нет. Ну да. Три дня стояли, три дня брали, а она прошла и сказала, что их нет. Что в этих стенах есть, а чего нет, решает, выходит, не зрительница.

Она слезла с выступа первой.

* * *

Ближняя куча была у ворот, и Айра опустилась перед ней на колени раньше, чем кто-нибудь решил, можно ли к ней подходить.

Пыль была серая. Мелкая, сухая, без запаха — пахнуть в ней было нечему: ни смолы, ни дерева, ни тулупа. Она сняла рукавицу и запустила в кучу руку по запястье. Холодная — но по-простому, по-зимнему, не как от Графини: так холодно всё, что лежит на снегу. Пыль текла между пальцев, как мука, и внизу у неё не было ничего — ни гвоздя, ни щепки, ни дна.

Ни медяка.

Она провела рукой до самой земли, до чёрного камня дорожки, — камень был голый. Прошлась кругом, всей ладонью, с одного края кучи до другого. Медь она бы и с закрытыми глазами нашла: медь в пыли лежит иначе, чем пыль, — плотно, отдельно, как чужая. Тут не было ничего чужого. Тут было одно и то же до самого низа.

Куда ты их девал, милейший. Я же обещала узнать. Вот

и узнала: никуда.

Два медяка ректора — с дороги: свой и за Тай. Один — с возчика, того, что вёз племянника. Сколько за день ушло со всех, кто прошёл под жердью туда и обратно, — этого она не считала и не стала бы, будь у неё вся зима. Всё это ушло в прорезь без звука, и вот прорези нет, и звука нет, и медяков нет. Как не было.

— Едут! — крикнули у неё за спиной, и она подняла голову, но никто не ехал. Это первокурсник, племянник возчика, кричал по привычке: он теперь при всяком шуме кричал «едут». Ну, шум-то был. Со двора.

Девочки бежали к колодцу.

Не шли — бежали: им, ясное дело, запретили, и они бежали, а Графиня шла за ними, не спеша, потому что спешить ей было незачем — догонит и так. Носильщики с сундуками уходили в стену Корпуса, не оборачиваясь. А девочки бежали к колодцу, потому что у колодца стояло новое, а девочек всё лето тут не было — новое было их.

Марга стояла у колодца с двумя ведрами и как раз лезла в карман фартука за медяком. Девочки пробежали сквозь Маргу. Марга покачнулась, как от ветра, и удержала ведро. Девочки пробежали сквозь будку у сруба, и будка выстояла: на неё смотрели. Они ушли в стену Корпуса вслед за сундуками. Графиня прошла за ними тем же путём, сквозь Маргу, сквозь будку, и будка осыпалась за её спиной, вдох — и куча, и пыль над кучей, первая за всё утро. Стена приняла её тоже.

— Прошу прощения, — проговорила Марга стене. Вежливо. Не своим голосом.

Медяк она убрала обратно в фартук и набрала оба ведра — даром, первый раз за три дня. Потом посмотрела на кучу, на второе ведро, полное, и вылила его на пыль — всё, до капли. Пыль зашипела бы, будь она горячая, а так только потемнела и осела ещё ниже.

— Чтоб не летела, — объяснила Марга.

Это была вся надгробная речь, которой удостоилась будка у колодца, и Айра сочла её достаточной. Марга тоже сочла — и пошла за третьим ведром: вода теперь была бесплатная. Дальше Айра бежала сама.

Не за девочками — за ними было не угнаться, они шли в стенах, — а за тем, что они после себя оставляли. У Корпуса лежала куча: первокурсники обступили её так, как обступали будку, только теперь никто не платил, и от этого им было неловко. У лестницы на третий — ничего: там будки и не было. В приёмной — куча между скамьёй и дверью, маленькая, ей по щиколотку. Дисциплина на подоконнике глядела на неё сверху с видом хозяйки, от которой понаехавшая родня наконец-то уехала. Айра встала на колено, сунула в кучу руку — ничего.

Ректора за дверью не было. Ректор, поди, шёл будить Эй-на.

Она читала это, как след. Только след обычно идёт впереди человека, а этот шёл за ним: куча, куча, куча. Там, где

прошло семейство в стене, будки у дверей оседали одна за другой, потому что двери стоят в стенах, а стены были их дорогой. Айра шла этой дорогой снаружи, коридорами, и везде успевала к пыли. Пыль была свежая. Тёплой она не была ни разу.

У большой аудитории она догнала.

Куча лежала у самых дверей, а над кучей стоял лектор Эйн — разбуженный: ректор, значит, дошёл сюда раньше неё и ушёл. Видно было по лицу — по обоим глазам, открытым разом, чего Айра за ним не помнила. И по тому, что стоял он сам, на своих ногах, не привалившись к косяку, — и, судя по лицу, ещё не решил, стоило ли вставать. Хроника академии была при нём, под локтем. Вокруг стояла Тень — Юст, Ним, Кейра: они шли за Айрой от самой приёмной и не спрашивали куда. И первокурсники Архива, тонкие, серые, с Улой, у которой снова были вопросы, те, что взрослые зовут неудобными, а Ула не зовёт никак.

Айра опустилась к куче. Рука — в пыль, до пола: ничего. Она стряхнула пыль с пальцев и встала.

— Ни в одной, — сказала она Ним. — Я все прошла.

— Двенадцать, — отозвалась Ним. Она шла следом и считала кучи, потому что кто-то должен был. — Куч — двенадцать. Медяков — ноль. — И тише, вынув из кармана, известного одной ей: — Мой при мне.

Медяк лежал у неё на ладони, целый, и на него смотрели все, как на единственного уцелевшего.

— Выдано — ничего, — записал Юст в тетрадку. — Принято — пыль. Так и запишу.

Эйн на всё это не смотрел. Он смотрел на кучу у своих ног, и смотрел долго — так долго, что Айра решила: уснул с открытыми глазами, есть же люди, которые умеют. Потом он наклонился, взял щепоть пыли, растёр её между пальцев и понюхал.

— Точно. — Он растёр пыль ещё раз. — Так их и вывели.

— Кто? — спросила Айра.

— Она. — Эйн кивнул в стену, куда ушло семейство. — Она и тогда приезжала. Я вспомнил ночью — только некому было сказать: все спали. Странные люди.

Он стряхнул пыль с пальцев и посмотрел на первокурсников — вторым глазом, отдельно: аудитория, хочешь не хочешь.

— Мытники, — начал он, — заводятся от проверок. Это вы знаете. Живут они тем, что их признают: платят — стало быть, есть. Не платят — тоже есть: не заплатил — тоже признал. — Он зевнул. — А Графиня на живых не смотрит. Не признаёт. Триста лет. Для неё их нет — вот их и нет. Она всякую зиму приезжает. А мытники — не всякую. Тридцать лет назад она и они сошлись. И вот сегодня. Ничего особенного.

Ула держала руку поднятой.

— Вопрос, — разрешил Эйн, не глядя. Он отвечал, похоже, засыпая: глаз уже пошёл вниз.

— Куда делись медяки, лектор?

— А куда деваются те, кто их брал?

— В пыль.

— Вот. — Он подумал. — Нет. Не вот. Медяки — не в пыль. Медяки — никуда: мытник берёт и не тратит, он их при себе держит. Не стало мытника — не стало и медяков. Ни у кого, ни одного. — Второй глаз тоже пошёл вниз. — Запишите: не вернут.

— Нам нельзя записывать, — напомнил Юст. С сожалением.

— Тогда запомните. Это хуже.

Первокурсники Архива взяли лектора под локти раньше, чем он уснул до конца, — научились. На этот раз сдвинули: спящий стоя, он весил как вещь, а полуспящий — ещё как человек, и человека дотасили до скамьи в аудитории и усадили. Хроника осталась лежать у косяка, где сползла.

Ула её подняла. Рука у неё для этого нашлась — та самая: вопросу ответили, и рука опустилась, первый раз с осени. Ула поглядела на ладонь, как на вещь, которую вернули с починки, пошевелила пальцами, взяла хронику под локоть, как носил Эйн, и понесла следом. Первокурсники оглянулись на опущенную руку все разом — без неё Улу, похоже, узнавали не сразу.

Не было — значит, и медяков не будет. Спасибо, лектор. Спокойной ночи.

К подвалу она пришла последней — Тень уже стояла у

двери, у кучи, и Виерна стояла с ними и смотрела, как всегда, не на кучу — на тех, кто на кучу смотрит.

— Занятие «след», — начала Виерна. — Продолжаем. Вы должны были найти, от чего они заводятся и кто их развёл. Нашли?

— Заводятся от проверок, госпожа декан, — доложила Айра. — Кто проверял, тот и развёл. Считали зимой, считали весной, считали осенью — вот и завелись.

— Кто нашёл?

— Лектор Эйн.

— А вывел?

— Графиня. Она их не признаёт.

Виерна помолчала — полсекунды лишних, тех, что у неё вместо похвалы, — и все четверо их услышали.

— Значит, не вы. Ни то ни другое. Вам принесли — вы подняли. Приемлемо. — И, к двери подвала, которую теперь ничто не загораживало: — В подвал входим. Пыль не трогать: это не ваш след. Ваш след, адепты, — то, что вы оставите на ней, входя. По нему я вас и посчитаю.

Они вошли, все пятеро, Виерна последней, и каждый оставил на пыли свой след. Айра — меньше всех: три года практики.

* * *

Во дворе к полудню стояла будка — новая.

Айра увидела её от дверей Корпуса и остановилась раньше, чем поняла почему. Будка стояла у колодца, в двух шагах от мокрой кучи, на которую Марга утром вылила ведро. Дощатая, свежая, с окошком, с жердью поперёк сруба — всё как у тех. И вокруг неё, на снегу, лежала щепка.

Щепка, опилки, гвоздь — один, погнутый, тот, что не вошёл. Следы: четыре пары сапог, туда и обратно, глубокие, с волоком. Дорожка от Архива через весь двор: волокли что-то тяжёлое, а где уставали — несли.

Это была, пожалуй, самая честная будка из всех, что она видела за три дня: у неё был след.

В окошке сидел Аскель.

Аскеля она знала — старшекурсник из чужой башни: в лицо, по имени, по одному разговору за всё время. Архив, старший курс, из тех, кто на лекциях Эйна не спит, а считает. Сейчас он сидел в окошке, и по нему было видно: всё посчитано. Рядом, у стенки будки, стояли ещё трое — с молотком, с пилой и с листом, на котором что-то было расписано столбиком.

— Мы посчитали, — говорил Аскель. Не ей — всем, кто подходил, а подходили многие: во дворе с утра нечего было делать, кроме как смотреть на кучи. — Полмедяка. С каждого, кто за водой. Не медяк — полмедяка. Вдвое дешевле, чем было. Мы не мытники. Мы Архив.

— И куда полмедяка? — спросили из толпы.

— В общий счёт. На дрова. Мы всё расписали. — Он по-

казал лист. — Сорок человек в день. Двадцать медяков. Зима длинная.

— Зима длинная, — согласились в толпе, и это было единственное, с чем согласились.

Марга пришла с вёдрами. Она подошла к срубу, поставила вёдра, посмотрела на жердь, на Аскеля, на щепу под ногами — и сходила за черпаком. Тем самым, длинным. Черпак и на новую будку впечатления не произвёл, но тут хотя бы было кому его видеть.

— Кем положено? — спросила Марга.

— Нами, — ответил Аскель. — Архивом. Мы посчитали.

— Нами. — Марга подумала, и черпак походил в руке вверх-вниз. — Стало быть, не положено.

И взяла воду, два ведра. Жердь ей не мешала: она её просто подняла рукой и опустила обратно. Аскель смотрел на это из окошка так, как смотрят на арифметику, которая сошлась на бумаге и не сошлась во дворе.

— Мы опоздали на полдня, — подвёл он итог трём своим. Спокойно, без обиды. — Ночью ставить надо было.

— Ночью у нас Тай ходит, — заметил кто-то из троих. — Она бы сожгла.

— Вот именно.

Айра стояла и смотрела на будку с гвоздём. Те, у кого следа не было, брали с каждого — и никто не спросил кем. Эти оставили след, сказали «нами» — и им не заплатил никто.

Учитесь, дети. Хочешь, чтобы платили, — не оставляй

следа. Я думала, это правило только про кошельки.

От столба с доской фонда объявили итог. Голос был Тев-
ра, самого его по-прежнему не было, зато жестянка стояла
на месте и была пуста — честно, до самого дна.

— Фонд угадывания объявляет, — сообщил голос. — Кто
поставил будку: не угадал никто. Совет нет, казна нет, ректор
нет. Выигрыш никому. Взносы верну. Нечем — значит, вер-
ну позже. — Пауза. — Первый раз всё сошлось. Я проверял.

— А «никто»? — спросил первокурсник, племянник воз-
чика. Это была его версия — «а может, никто?» — и он, ка-
жется, надеялся.

— На «никто» не ставили. Никто.

Скарб вышел из кладовых сам. Айра видела, как он под-
нимался во двор — ключи при нём, на поясе, руки пустые
— и как остановился у кучи перед своей дверью.

— Пыль, — определил он. — Не вещь. Выметут.

Магистр Ольдер к куче не подошёл — постоял поодаль,
держась за связку ключей, как держатся за обереги, и на вся-
кий случай пыли не поверил.

— Заведутся новые, — мрачно предрёк он. — После каж-
дой проверки Совета что-нибудь да заводится. Я пересчиты-
вал.

И ушёл, оглядываясь на пыль, будто она могла встать об-
ратно.

Припасы пошли наверх. Марга взяла у Скарба мешок, не
спросив, и понесла, и это было всё, что академия узнала о

примирении кладовых с кухней.

Кессельроде прошёл через двор со свитой, взглянул на кучу у Корпуса и на будку Архива с гвоздём — одним взглядом на обе — и бросил свите, не сбавляя шага:

— Пыль. Хотя что-то в этих стенах без сбора.

И это, к слову, было верно.

В приёмную она поднялась под вечер. Лампы на лестнице ещё горели в полную силу — до линьки им было далеко.

Кучи у скамьи больше не было. Её вымели — кто-то из наряда, видно, — и на том месте, где стояла будка, между скамьёй и дверью, сидела Дисциплина — на скамье. Не на подоконнике, где ей полагалось, а именно тут, на краю, свесив заломленный хвост туда, где была будка.

Айра поглядела на неё. Дисциплина поглядела на Айру, одним глазом, жёлтым, и глаз этот говорил: заняла — значит, моё.

Правильно. Кто-то же должен. У нас тут кто сидит, тот и прав.

Ректор сидел у стола. Медяков перед ним не было — ни в ряд, ни рассыпью. Стол был пустой, и руки на нём лежали пустые, и это было непривычнее, чем медяки.

— Девять медяков, — встретил он её. — Столько ушло будкам, пока я шёл к Эйну. Десятый был бы у аудитории. Не понадобился.

— Вернут?

— Некому возвращать. — Он это, похоже, решил давно,

ещё утром, у первой кучи. — Я хотел знать, кто это поставил, чтобы взыскать. Я знаю. Это проверки. С проверки денег не спросишь: её не судят, её проходят. Я списал.

— Девять медяков.

— Девять медяков и три дня. Дни я тоже считал. — И тем же голосом, каким считал медяки: — Проверок было четыре, adeptка: одна в вашу первую осень, три за этот год. Я не думаю, что это число окончательное.

Второй стул с той ночи никуда от окна не делся, и она на него села.

— Будки у вашей двери больше нет, — заметил ректор. Не спрашивая: он там проходил.

— Нет.

— Стало быть, бухгалтерия закрыта.

— Закрыта.

Он помолчал. Ответа в этом молчании не готовилось — она уже умела отличать. Айра смотрела на его руки на столе и считала по-своему. «Где кормят» опять первое правило: Марга набрала два ведра даром. «Где не берут» было вторым, и второго правила больше нет: у его двери никто не берёт, потому что брать стало некому. Ночевать тут ей теперь незачем. Он это сказал. И не сказал, чтобы она не приходила.

— Марга набрала два ведра. Утром. Сама подняла жердь. — Про это ей хотелось сказать первой.

— Я слышал. Она Скарбу мешок носила. Он не спросил.

— Значит, кормят.

— Значит, кормят, — согласился он. И, глядя на Дисциплину на скамье: — Она там с полудня. Я велел вымести — она пришла и села. Я не спрашивал зачем.

— Чтобы не выросло.

— Я так и понял. — Он помолчал ещё. — Стул у окна я тоже не убираю. По той же причине.

— Не убирайте. — Это она сказала быстрее, чем успела посчитать. — Он мой. Я на нём сижу.

— Я заметил.

По какой причине, она не спросила. Побоялась — не вопроса, а того, что у неё загорятся уши и он это увидит. Уши горели даже так. Список того, чего она никому не скажет, пополнялся, как жестянка Тевра в хороший день.

Огонь в очаге горел. Одеяла у очага сегодня не было — сушить было нечего.

* * *

Утром закричали с надвратной кладки — не «едут», а «ставят».

Кричал первокурсник, племянник возчика: он повадился с утра лазить на выступ у ниши — глядеть, не едет ли кто, — и в кои-то веки увидел. На дороге, далеко, там, где вчера лежала первая куча, стоят сани и люди и сгружают столбы какие-то, длинные.

— Опять они! — крикнул кто-то от Корпуса, и у ворот

засмеялись.

Смеялись хорошо, от души: первокурсники, дворня у поленницы, Аскель со своими у будки с гвоздём — все, кто вчера платил. Опять они, пусть ставят: у нас теперь Графиня — вон, в стене, до весны. Пусть хоть сто будок наставят, к обеду будет сто куч, Марга их водой зальёт, чтоб не летели.

— Только сани, — упирался первокурсник, но его уже не слушали. — Я говорю: с саней сгружают. На санях привезли.

Айра слушала.

Она вышла в ворота без свечи и без ящика — пошла по дороге пешком, одна, тем шагом, которым ходила, когда не хотела, чтобы её заметили: скучным. Дорога сегодня опять длину решала сама и, кажется, решила показать. Башни за спиной пропали сразу, а впереди дорога тянулась и тянулась, чёрная, голая, и туман стоял по сторонам слоями, и из-за третьего на неё глядели. Она не ответила. Не до тебя.

Там, где вчера стояла будка, лежала пыль. Плоская уже, примятая: по ней прошли полозья, и две борозды шли через кучу насквозь, как через всякий сор на дороге. За кучей стояли сани. Настоящие: лошадь, возчик на облучке, которому заплатили и велели не спрашивать, — по спине видно. На санях — ящики. Длинные, узкие, заколоченные, с номерами по торцу.

Айра эти ящики знала.

Знала не по машине — машин она видела две, и обе с виду одинаковые: две дуги тёмного дерева с синими жилами, —

а по номерам на торцах: числа она помнила лучше букв. Та, что стояла в Большом зале этой осенью, на переписи, приехала с чужой артелью и с ней же уехала. А эта — первая: её привозила инспекция в первую осень Айры, и Айра проводжала её потом из зала, каждую заколоченную доску отдельно, с удовольствием. Номера были те самые. В этих ящиках лежала машина, которая слушала, как она идёт, — все сорок шагов. Такое не забывается, как ни старайся: тогда она пронесла между ними чужой Знак и не попалась. Второй раз ей туда не хотелось.

Четверо в серых плащах сгружали. Без знаков, без гербов, в плащах, у которых даже цвета не было — так, серые, и всё. Вынимали стойку из ящика вдвоём, ставили на дорогу, выравнивали. Одна уже стояла — человеку по макушку, по правую сторону, у самой обочины, у тумана, — и жилы в дереве дышали синим. Лениво, сонно, как дышали в зале в паузах между людьми.

Она стояла в тумане, у обочины, шагах в тридцати, и на неё не смотрели. Скудной она была на совесть: этому улица учит первым делом.

Молчи, — велела она Знаку. — Не сегодня. Сегодня нас тут не было.

Знак молчал и теплеть не думал.

— Ровнее, — бросил один из серых другому. Обычным голосом, будто про лавку. — Читает?

— Читает. Всякого, кто пройдёт, а мы сверяем по листу.

Ещё шесть. К ночи встанут все.

Они поставили вторую — по левую руку, напротив первой. Между стойками легла дорога. Узкая, чёрная, шириной в одни сани. Другой дороги отсюда не было.

Айра посмотрела серым под ноги. Иней был истоптан. Щепы от ящика — вот она. Солома, в которой везли. Борозды от полозьев, глубокие, тяжёлые: сани пришли гружёные. Следы четырёх пар сапог, туда-сюда, от саней к дороге, от дороги к саням. Всё, что она три дня искала у будок и не нашла ни разу, лежало тут на снегу — сколько хочешь, бери.

Вчера они смеялись: опять они. Первокурсники и сейчас, должно быть, смеялись — зря. Мытников не привозят, их разводят. А этих привезли. На санях, по счёту, в ящиках.

У этих был след.

Глава 4. Горло

Два дня стойки стояли на дороге, и два дня через них никто не ходил. Незачем было: в город никого не звали, а ходить туда-обратно ради погляда охотников не нашлось. Адепты ходили к воротам глядеть издали — первокурсники кучкой, старшие поодиночке, будто мимо. Издали стойки были видны хорошо: восемь столбов тёмного дерева по обе стороны дороги, четыре и четыре. Между ними — дорога, чёрная, в одни сани шириной. Ночью жили в дереве светились синим и не мигали. Мытники хоть окошками светили, а эти — жилами.

Айра ходила глядеть тоже. Смотрительнице положено. И потом, ей одной во всём дворе было понятно, что тут стоит: такое дерево слушает Знак у человека на шее и дышит синим, если услышит, а человек при нём спрашивает имя и ищет его в списке. Она между такими ходила дважды, в первую осень на экзамене и этой осенью на переписи, и оба раза ей не понравилось.

На третье утро через стойки пошёл Кессельроде.

Никто его не посылал. Он вышел из Корпуса со свитой — четверо в красном, как всегда, — и прошёл через двор, не глядя по сторонам. У столба фонда остановился. Столб был тот самый, доска та же, и на доске с утра стояло, рукой невидимого Тевра: «Стойки: мытники или не мытники —

принимаются взносы».

— На то, что совпаду. С их листом. — Это Кессельроде столбу.

— «Совпаду» не принимаю. — Голос Тевра отозвался откуда-то из-за столба. — Это не угадывание. Это вы знаете.

— Знаю.

— Вот. Фонд угадывания угадывает. То, что знают, он не принимает: это нечестно. Я проверял.

Кессельроде подумал, держа монету двумя пальцами, и в жестянку класть её не стал.

— Тогда я не ставлю, — решил он. — Я просто говорю: совпаду.

И пошёл к воротам.

Адепты поняли, что сейчас будет, раньше, чем сам Кессельроде, и потянулись следом — все три башни разом. Не толпой: каждый вроде бы по своим делам, а все — к окну, за которым бьют. Айра поднялась на выступ у ниши. Выступ был на одного, и на этот раз она успела первой. Дорога сегодня длины не тянула: стойки стояли близко, и с выступа было слышно каждое слово.

Кессельроде шёл по дороге, как ходил всюду, — один, свита в трёх шагах, взгляд вверх. Вверх стоек тоже. Он на них не смотрел — не нарочно, а как не смотрят на прислугу: не на что там смотреть. Айра узнала эту мерку сразу. С неё смотрели так три года, каждый день. Теперь она видела эту мерку со стороны, на восьми столбах, и была, пожалуй, на

стороне столбов.

Лицо Графини. Ну да. Он у неё и не учился — у него это своё, с рождения.

Стойки на него отзывались по-своему: не вспыхнули — погасли. Синие жилы побледнели на пять шагов вокруг, стоило ему войти между первой парой. Он пошёл по дороге в собственной тишине, как в проруби, а за спиной у него дерево занималось обратно — сонно, ничего не поняв. У последней пары стоял серый. Серых при стойках было четверо, и этот держал лист — старший.

— Имя. — Он это не спросил. Так говорят «следующий».

— Кессельроде.

Старший провёл пальцем по листу. Лист был длинный, в два столбца, и Айра его тоже узнала: такие она видела осенью, в Большом зале. Только тогда рядом с листом сидел Верен с пером, а теперь — чужие. Палец нашёл строку.

По эту сторону, шагах в пяти от первой пары, стоял магистр Ольдер — ближе не подходил — и глядел на стойки, как хозяин на свою лошадь под чужим седлом: машина была та самая, что стояла в Большом зале в первую осень Айры, на экзамене, и тогда при ней стоял Ольдер и считал по ней он. Эту сторожили от него.

— Совпадает. — Палец с листа не ушёл. — Проходите.

И Кессельроде прошёл: дерево при нём так и стояло погасшее, а старший этого будто не заметил, у него сошёлся лист, и больше ему ничего не было нужно. Кессельроде вы-

шел из-за последней стойки на чёрную дорогу, прошёл по ней шагов двадцать — туда, где дорогу съедал туман. Постоял, повернулся и пошёл обратно. Между стойками — тем же шагом, в той же тишине.

— Имя.

— Кессельроде.

— Совпадает. Проходите.

Он вошёл в ворота, как входил всегда, и на тех, кто стоял и ждал, — Архив, Клинок, свой же курс — тоже не посмотрел. Только у столба задержался — на полшага — и сообщил жестянке:

— Совпало.

Молчали все — от первокурсников до старших. Смех был готов — Айра слышала его снизу, пока Кессельроде шёл туда: «не смотреть надо, как Графиня», «сейчас рассыплются». Не случился. Столбы не рассыпались, а стража прочла его дважды, туда и обратно, и оба раза по имени и по листу. А лист был не будочный: у будок листов не водилось, у будок был ящик, куда медяк падал и не возвращался.

Совпадает. Слово-то какое. На переписи его тоже говорили — «всякий совпадает со своей записью». Значит, у них там на каждого запись. И стоят они тут не ради тех, кто совпал. Ждут того, кто не совпадёт.

Спорить начали уже потом, у столба, — Архив с Клинком, по обыкновению, негромко и не про то. Верен стоял у доски с очками в руке — снял, протёр, надел — и проговаривал то,

что все и так знали. Только он один знал это по справочнику:

— Считывающие стойки, класс С. Я их видел в справочнике допусков, ещё в первую осень. Мытников в справочнике нет, — прибавил он, подумав. — Стало быть, это не мытники. Справочник бы не позволил.

— След есть, — говорил Аскель со своими. — Сани, ящики, четверо. У мытников следа не бывает — это мы проверили на себе. — Помолчал. — На полдня опоздали, между прочим. Если бы наша будка стояла тут раньше...

— Не смотреть надо, — стояли на своём с Клинка. — Кессельроде не смотрел — и пропустили. Значит, работает.

— Он не «не смотрел». Он Кессельроде.

Марга спор не поддержала. Марга пошла к воротам сама — с пустыми руками, без вёдер, что было для неё почти оскорблением, — и спросила через дорогу, громко, рыночным голосом:

— Кем положено?

Тот, с листом, поднял голову. Он ответил вежливо и без всякого рвения — тем самым голосом, который все три дня слышали из окошек:

— Не могу знать. Положено.

И адепты, только что переставшие смеяться, вздохнули с облегчением. Вот оно: тот же голос, те же слова. Мытники, только обставлены богаче.

Айра облегчения не разделяла. Она слышала, как звучит «не могу знать» у мужика в тулупе — тот и правда не мог.

А этот мог. Этот просто не стал.

* * *

Список у Марги был короткий: соль, пшено, свечей на кухню — и Гурт.

Гурт с самого утра запряг Ягоду — в свою телегу, криковатую на левый борт. Припас не ждёт, а Марга не просит дважды. Капусту он привёз ещё до стоек и с тех пор жил при кухне: ехать через восемь столбов первым, как всякий разумный человек, не спешил. Усы у него с осени, кажется, ещё подросли. Медяки кончились на будках, и кухня жила на том, что осталось у Скарба. А у Скарба, по его словам, осталось всё, кроме соли: соль кончилась ещё до стоек.

— Соль, — повторил Гурт, глядя в список. Читал он, шевеля усами, и усы, похоже, читали лучше него. — Пшено. Свечи. Стало быть, до рынка и обратно. Ягода одобряет: она порожняком не любит.

— И меня, — сказала Айра.

Она уже сидела на телеге — на задке, свесив ноги, как садилась на всякую телегу в своей жизни: чтобы спрыгнуть, не спрашивая. Рынок она знала лучше Гурта: соль там продавали трёх сортов, и все три подороже, чем стоили. И потом, ей надо было посмотреть на стойки ближе. Не издали, не с выступа, а как смотрят на замок: с той стороны, где прорезь.

Гурт на неё не возразил. Гурт вообще не возражал тем,

кто уже сел.

— Хозяйка едет, — сообщил он Ягоде. — Не осуждай.

Тай стояла у арки с узелком: пирожки, четыре штуки, на дорогу, — «на дорогу натошак не ездят». Узелок она вручила Айре, посмотрела на телегу, на стойки вдалеке — и стойки ей понравились ещё меньше будок.

— Адептка Сол.

Ректор стоял под аркой. Без плаща, как выходил к воротам всякий раз в эту зиму. Айра ещё успела подумать, что к воротам он выходит чаще, чем полагается ректору, — а потом он подошёл к телеге и взял её за локоть.

Не сжал — взял, как берут вещь, которую уносят, чтобы не унесли. Пальцы легли поверх рукава, и Знак под рубахой отозвался на них теплом. Не на слова — на руку: этому он с осени научился сам, спрашивать её не стал.

— Слезайте.

— У Марги список.

— Список поедет. Вы — нет. — Он не понизил голоса. Тай стояла в двух шагах, Гурт сидел на облучке, и говорил он при них, как говорил бы при пустом дворе. — Осенью, на переписи, машина отозвалась на вас дважды: один раз на вас, второй на меня, хотя меня в зале не было. Нас двоих она слышит как одно. А строка в листе одна, ваша, и артель записала против неё одно слово: «вздых». Совет прочёл и доказать по вздоху ничего не может. Эти восемь стоят на дороге, чтобы вы вошли, называли себя и дерево отозвалось на

вас второй раз, при страже и при листе. Тогда запишут не вздох, а имя. С именем за вами приедут. — Пальцы на локте не двинулись. — Вы не пойдёте.

Вот так — при Тай, при Гурте, при Ягоде, вслух.

Айра сидела на задке телеги и считала, не медяки: как отсюда выкрутиться. Выкрутиться было некуда: он держал её за локоть и говорил правду. «Не пойдёшь» ей говорили три года — стража, хозяева, ворота, — и всякий раз это был запрет. Тут было другое: он при людях, вслух, сказал, чем ей обойдётся эта дорога. Она это знала и сама, просто вслух выкладывать не собиралась.

Вздох. Один вздох осенью — и дорога закрыта. Дёшево меня заперли. Ну, хоть не за медяк.

Она слезла — и он отпустил её локоть тогда, когда сапог коснулся камня, не раньше.

— Вы могли попросить, — сказала она. Негромко, ему одному: дерзить начальству при дворе она бы не стала. А это было не начальству.

— Мог. — Он не отвёл глаз. — Не рискнул. Просьбу вы бы обошли, как жердь.

Это была правда, и от правды стало не легче, а жарче. Злилась она, как выяснилось, не на приказ. На то, что подчинилась сразу.

— А меня? — спросила Тай.

— Вас прочтут, как всех.

— Тогда поеду я. — Она уже шла к телеге. — Пусть чи-

тают. У меня всё записано: термически одарённая, довольствие двойное, всё честно. Я им ещё и лист поправлю, если там что не так. Соль я тоже знаю, где берут: где дороже, там и берут, мать так делает, и её ни разу не обманули.

— Вы нужны здесь.

— Кому?

— Мастеру Бреку. — Ректор это, судя по всему, заготовил ещё в арке. — У вас плац.

Тай посмотрела на него, потом на Айру, потом на стойки. Потом, видно, решила, что плац подождёт, а поглядеть можно и отсюда, и осталась стоять у арки: дебош не объявлен, но мало ли.

— Кто едет? — спросил Гурт. Не оборачиваясь: вопрос был телеге в целом.

Айра уже знала кто. Она знала это с той секунды, как пальцы легли на локоть, — просто досчитала до конца, для порядка.

Арден был там, где бывал в этот час, — у поварни, на приступке, с лоханью: посуду мыл он. Она подошла, и он поднял голову раньше, чем она заговорила: он всегда знал, когда его видят, потому что это бывало редко.

— Поедешь с Гуртом. Соль, пшено, свечи. Марга даст кошель.

— Меня прочтут?

— Прочтут. — Она это ему сказала честно, как своему: своим врать нельзя. — А потом забудут, что прочли. Я так

думаю. Я хочу посмотреть.

Арден вытер руки о фартук. Он раздумывал недолго — столько, сколько нужно, чтобы поставить лохань так, чтобы не перевернулась.

— Убыток поедет со мной, — сообщил он. — Кот. Он уже на телеге, сел, пока ты там разговаривала.

Кот сидел на задке — на том самом месте, где сидела она, — и глядел на ворота с видом пассажира, который заплатил за проезд вперёд. Гурт его не видел. Ягода, судя по ушам, что-то подозревала. Узелок Тай лежал рядом с Котом: пирожки уехали с тем, кто едет.

До стоек она дошла с телегой — рядом, по обочине, по инею. Ректор остался под аркой. Она чувствовала это спиной всю дорогу, и дорога, поди, тоже это чувствовала: в кои-то веки не стала растягиваться. Стойки выросли из тумана скоро — восемь, и вблизи они были выше, чем издали. Дерево у них было старое, тёмное, в трещинах, и по трещинам шёл синий свет архонтита — медленно, сонно. Четверо серых стояли по двое: двое у первой пары, двое у последней. У последней — тот, с листом.

Айра остановилась за шаг до первой стойки. Не между — за шаг. Между ними лежала дорога, и на дорогу она не ступила.

Телега въехала.

Гурт правил по-своему — усы вперёд, вожжи в руках, Ягода шагом. Стойки на него не отзывались — ни одна. Синие

жилы дышали, как дышали, — сонно, мимо. А он ехал между ними, видный, усатый, живой, и был для дерева не больше, чем его капуста. Старший поднял голову, опустил, поднял ещё раз.

— Не читает, — доложил он второму.

— Что не читает?

— Его. — Кивок на Гурта. — Едет — а не читает.

Второй подошёл к стойке и приложил ладонь к дереву, как прикладывают к печи: тёплая ли. Дерево дышало — на Гурта нет.

— Имя, — потребовал первый, на всякий случай.

— Гурт. Меня тут всякий знает.

— Мы не всякий. — Первый посмотрел в лист. Строку он искал долго и не нашёл: палец дошёл до низа и вернулся ни с чем. — Не читает и не значит.

— Стало быть, меня нет, — согласился Гурт. Спокойно: ему это было не впервой. — А телега есть. Лошадь есть. Соль будет, если пустишь.

Серые переглянулись. У них на этот случай было что-то записано — только не про усатого возчика, который есть и которого нет. Второй ещё раз приложил ладонь к дереву. Первый ещё раз посмотрел в лист.

— Что не читается — того нет, — решил он наконец. Это, видно, и было записано. — Лошадь читается?

— Лошадей не читаем.

— Стало быть, лошадь с поклажей. Проезжай.

Ягода, которую только что произвели в единственное лицо на телеге, пошла вперёд с достоинством, какого Айра за ней раньше не замечала. Гурт правил и не спорил: его это устраивало. А в задке телеги сидел Арден.

На него дерево отозвалось сразу, как на всех: синие жилы пошли ярче, от первой пары к последней, сонное дыхание выравнилось. Старший увидел это раньше, чем увидел человека.

— Имя.

— Арден.

Палец пошёл по листу. По одному столбцу, по второму — и нашёл: Арден в листе был. Айра видела это по пальцу, который остановился и прижал строку. Кому и быть: он сам, стоя перед Советом, попросил себя записать — и его записали, при ней, прошлой весной. Старший поднял глаза на того, кто сидел на телеге, — сверить лицо со строкой.

И не сверил.

Взгляд ушёл с Ардена на телегу, с телеги на дорогу. Будто там и не было никого, кроме лошади с поклажей, которую уже пропустили. Палец с листа съехал, и пометки против строки не появилось: строка была, а человека при ней старший не запомнил. Второй, который стоял у стойки с ладонью на дереве, посмотрел на первого, будто ждал слова, — и слова не было, и он убрал ладонь.

— Проезжай, — велел первый Ягоде.

Телега прошла, и дерево за ней остыло. Арден с задка не

оборачивался: оборачиваться нельзя, это он знал лучше неё. Только рука его лежала на рогоже так, будто под рогожей что-то есть. Кот сидел рядом с рукой. Кота не читали. Кота не было — в самом обыкновенном смысле, без всяких стоек.

Прочли. И забыли. Вот тебе и человек, которого не помнят: записал себя у Совета сам, вслух, — и стража Совета его при собственной записи не узнала. Машина не забывает. Забывают люди при машине. Это, между прочим, разница. Запомню.

Она постояла ещё — за шаг до первой стойки, на инее, — пока телега не ушла в туман. Серые на неё не глядели: она не входила, а тех, кто не входит, они, похоже, не считали. Дерево дышало мимо.

Дыши, дыши. Я не вхожу. Мы с тобой оба раза уже виделись — с меня хватит.

Обратно она шла одна, и дорога — вот теперь — растянулась.

* * *

После полудня мастер Брек вывел Клинок за ворота. Это не было решением — это было расписанием: Клинок в этот час бегал. Обычно по плацу, кругами: плац при восточной пристройке, оружейная, всё как положено. Но сегодня Брек оглядел плац, оглядел ворота — и было ясно: расписание он менять не будет, а место — почему бы и нет.

— До столбов и обратно, — сказал он строю. — Смотреть. Не трогать. Бегом.

Айра видела это с выступа: она туда вернулась, потому что больше смотреть стойки было неоткуда, а не смотреть она не могла. Клинок побежал — красным, по чёрной дороге, все четыре курса, — и стойки выросли перед ними скорее, чем полагалось: дорога, похоже, сама хотела поглядеть.

Серые такого не ждали. Айра видела, как они забегали — все четверо, к первой паре, — и как старший выставил лист перед собой — щитом.

— По одному! — крикнул он. — Между стойками — по одному!

— Они по одному, — отозвался Брек. Он не бежал — шёл следом, десятником, руки за спиной, и голоса не повышал. — Просто быстро.

Клинок вошёл в горло: так ещё с первой осени, с Большого зала, звали проход между стойками. По одному — и правда: строй он держал, Брек за этим следил, — но по одному так, как сыплется горох из прорванного мешка. Стойки задыхались: свечение пошло по дереву волной, от первой пары к последней, ярче, чаще. Тот, с листом, успевал только водить пальцем и ничего не находить — имени никто не называл, Брек не велел останавливаться.

— Имя! — кричал старший. — Имя!

— Клинок, — отвечал ему Брек спокойно, идя мимо. — Первый курс. Второй. Третий. Четвёртый. Все совпадают: я

их знаю в лицо.

— Мы не в лицо! Мы по листу!

— Лист у вас. Ноги у них. Достаточно.

А потом сквозь горло пробежала Тай.

Она бежала посередине строя, как ходила всегда, и бежала жарко: Айра видела с выступа, как над красными плечами дрогнул воздух. Стойки на неё отозвались, как отзывались в зале и на экзамене, и на переписи: синие жилы поплыли, дерево задышало чаще, теплее, сбивчиво. Мимо пронесли печку, и оно это поняло. Тот, с листом, отшатнулся от стойки.

— Это что?!

— Это норма! — крикнула Тай на бегу, не сбавляя. — Термически одарённая! У меня записано! Смотри в лист!

Он посмотрел в лист. Строку, видно, нашёл: на его лице было написано, что нашёл и что ему не легче.

Клинок добежал до тумана, развернулся — с топотом, но целиком — и побежал обратно. Стойки прочли их второй раз, и второй раз никто не назвал имени. Старший сел на ящик у последней пары и лист положил на колени.

— Достаточно. — Брек вошёл в ворота последним. Оглядел строй, дыхание, лица. — Толково. Дальше — по плацу.

Клинок ушёл на плац. Тай не ушла: отстала от строя на три шага, задрала голову к выступу и доложила наверх — шёпотом, который было слышно у пленницы:

— Оно тёплое. Внутри. Я почувствовала, когда бежала: дышит, как живое. А живое я умею. — Она подумала и вы-

ложила план, как выкладывают козырь: — Я с ними ещё побегаю. Каждый день. Пока не устанут. Брек разрешит, Брек любит, когда бегают.

— Тай.

— Я только сказала.

И ушла на плац — оглянувшись на выступ один раз: видела ли Айра. Айра кивнула ей сверху. Плац подождал, а посмотрела Тай ближе всех.

Норма. Вот и весь Совет: против печки у него графа есть, а против бегущего строя — нет. Это тоже надо запомнить. Это первое, что мне тут понравилось за два дня.

Старший сидел на ящике ещё долго. Второй стоял рядом и ладонь к дереву не прикладывал: дерево и так дышало, тяжело, как после бега. В этом дыхании — Айра слышала его даже отсюда — было, ну, что-то вроде обиды.

* * *

Свечу к нише она понесла в сумерках — порядок, единственная вещь этой зимы, которая никуда не делась и ничего не стоила.

Лампы Корпуса линияли, двор пустел на ужин. Стихоплёт молчал, веки опущены. Кремень дал огонь не сразу — мороз, — и фонарь ожил, и свет достал до каменного колена и дальше не пошёл.

А по дороге, в тумане, в темноте, светился архонтит —

восемь раз, синим, и не мигал.

Телега пришла на свет. Айра услышала её раньше, чем увидела: колёса по камню, не полозья. Знаковая дорога снега не признавала, и колёса по ней шли не хуже полозьев, а Гурт на сани не тратился. Упрямый, говорили в округе. Ягода, надо думать, говорила иначе. Стойки на телегу отозвались: свечение прошло по дереву от дальней пары к ближайшей, по порядку. Гурт въехал в ворота, не оборачиваясь.

— Не читали, — доложил он с облучка. — Ни туда, ни обратно. Лошадь с поклажей. — Он подумал. — Меня, стало быть, нет. Ягода огорчилась. Соль — есть. Послезавтра поеду опять: соль расходится.

Соль была: мешок под рогожей, пшено, свечи в связке. Марга уже шла через двор, и по походке было ясно: кошель она пересчитает при Гурте, а мешок — при Ягоде. На задке телеги сидел Арден, и Кот сидел рядом с ним. Кот выглядел существом, которое прокатилось на рынок и обратно за чужой счёт и ничего не стыдится.

— Прочли. — Арден слез, и вежливость у него была та же, давняя, только усталая. — Дважды. Спросили имя, я сказал. Нашли в листе — я там есть, сам просил, ты помнишь. Потом посмотрели на меня — а вот тут меня уже не было. — Он подумал. — Второй раз тот же самый спросил. Он меня утром не запомнил. И вечером не запомнил.

— Машина?

— Машина помнит. — Арден посмотрел на дорогу, на си-

ний свет в тумане. — Она на меня дышит, как на всех. Ей всё равно, помнят меня или нет. Ей нужен Знак — Знак у меня есть, я же не Гурт. — Он помолчал. — Убытка не читали. Из нас двоих лучше устроен он.

Кот на это не ответил. Кот пошёл через двор к мастерской — не спеша, брюхом вперёд, — и снег под ним проминался на глазах у всех, кому положено видеть снег.

Ректор ждал в арке — с того момента, как она пошла со свечой, не дольше: иней на плащ лечь не успел. Плащ он всё-таки надел. Первый раз за зиму.

— Гурта дерево не читает вовсе, пропустили как поклажу. — Это она не спросила — доложила: смотрительница докладывает. — Ардена читает, а стража его тут же забывает. Кессельроде оно гасит, и он всё равно проходит: у него есть строка в листе. Клинок пробежал так, что имён спросить не успели. Тай прошла жаром, и против жара у них графа нашла. Пять дыр, и ни одна не моя.

— Я видел.

— Адепты говорят: мытники, только обставлены богаче. И дворня с ними. Тот, с листом, ответил Марге «не могу знать».

— Я слышал.

— Марга ждёт, когда Графиня пойдёт в город.

— Графиня в город не ходит. — Голосом расписания. — Она возвращается с зимой и уезжает с ней. Ей нечего делать в городе, и на дорогу она не выйдет: она и по академии ходит

сквозь стены.

Айра посмотрела на дорогу: восемь синих пятен в тумане, не мигая. Академия ужинала, и из будок хотя бы смотрели вежливо, а из этих не смотрел никто: слушали.

— Это не мытники. — Ректор смотрел туда же. — Мытник берёт медяк и не тратит. Эти не берут ничего. Они читают. Это Совет, адептка. Он думал всю осень — и придумал. — Он помолчал: не за словом, слово у него было. — Такие ставят на границах. Мы теперь — по ту сторону.

Глава 5. Дорога вдвое

Обоз с дровами шёл через стойки с рассвета и к полудню ещё не дошёл.

С выступа у ниши Айре было видно всё: сани стояли в горле, в проходе между стойками, у второй пары, и не двигались. Возчик сидел на облучке и не спорил: спорить возчики на этой дороге разучились ещё при будках. Старший с листом стоял у саней и читал. Он читал дрова: водил пальцем по столбцу, поднимал глаза на поленья, опускал обратно. Поленья в листе не значились. Это было понятно даже отсюда.

Ну, читай. Берёза, осина, две колоды. Имя — Дрова. Совпадает.

Дорога сегодня опять была короткой: она сама решала, какой ей быть, то в час ходу, то в три шага. Стойки стояли в виду ворот, шагах в ста. Всё, что делалось на дороге, делалось на глазах у ворот, а всё, что во дворе, — на глазах у стока. Ещё вчера это было новостью. Теперь это было как туман по сторонам дороги: стоит и стоит, только туман, к слову, не спрашивает, кто ты.

Потом обоз тронулся, и возчик, судя по спине, ничего не понял и понимать не хотел. Сани прошли последнюю пару, дерево за ними задышало обратно, сонно, и Тобб у поленицы снял шапку и вытер ею лоб — от одного погляда взопрел.

Дров теперь шло вдвое меньше и вдвое дольше: каждые сани читали, как человека, и пока читали одни, другие стояли.

Марга вышла из поварни с корзиной.

Корзина была большая, под холстиной, и от холстины на морозе шёл пар. За Маргой шла Ним со второй корзиной, поменьше, — с хлебом. У Ним всегда при себе что-нибудь есть, а когда своего нет — она несёт чужое, лишь бы не идти с пустыми руками. Айра слезла с выступа и пошла следом: смотрительнице положено видеть, куда носят еду. И потом, пар от корзины пах капустой и печёным тестом, а к такому она на улице шла всегда, ничего не спрашивая.

— Гостям, — объяснила Марга на ходу. Не Айре — воротам, поленнице, всем, кто смотрел. — Четверо на морозе с утра. Мои не мои — а мёрзнут. Кто ест у моей двери — тот мой.

— Они не у двери. Они на дороге.

— Дорога тоже чья-то.

С этим Айра спорить не стала: с Маргой не спорят, с Маргой носят. Ним шла рядом и, кажется, считала пирожки сквозь холстину — так, на всякий случай, чтобы потом знать, сколько ушло. Айра шла третьей и не считала ничего: ей и так было ясно, что на четверых серых пирогов шестнадцать, а на неё — ноль. Порядок обычный, уличный.

У первой стойки Марга встала там же, где вчера стояла Айра: за шаг, не входя. Корзину поставила на дорогу. Старший поднял голову от листа.

— Имя.

— Пирог, — ответила Марга. Голосом, каким называют цену.

Старший посмотрел в лист. Айра видела, как он это делает, — как положено: по столбцу, палец сверху вниз. «Пирогов» в листе не было, как не было и дров.

— Не значит.

— А они и не читаются, — подсказал второй. Тот, что вчера прикладывал ладонь к дереву. Он и сейчас стоял при стойке, ладонью на жилах, как стоят у печи, когда больше нигде греться. — Дерево на них не дышит. Я ладонь держу — не дышит.

— Стало быть, чего не читается — того нет, — рассудил старший. Медленно: правило у него было записано, а пироги в правиле — нет. — А чего нет, за то мы не отвечаем.

— Стало быть, можно, — заключил второй.

Он снял ладонь с дерева, подошёл, откинул холстину и взял пирог. Просто взял, голой рукой, и рука у него была красная, молодая, в цыпках. Ему было лет двадцать, не больше. Под серым плащом сидел парень — простой, замёрзший, из тех, что на рынке стоят за хозяина у лотка и весь день хотят есть.

— С чем?

— С капустой. — Марга смотрела на него так, как смотрела на всякого, кто ест у неё впервые: посмотрим, как жуёт. — Тебя как звать?

— Вик.

— Вик. — Она это запомнила сразу, спиной: имена едоков она держала лучше, чем имена вещей. — Ешь, Вик. Ещё возьми, там на четверых. Твои-то не идут?

— А завтра с чем? — спросил Вик с набитым ртом. Про своих он не понял: своих ему, видно, спрашивать не полагалось.

— С тем, что останется.

Вик, похоже, решил остаться.

Старший не шёл. Старший стоял с листом и глядел на корзину, у которой не было имени, а спросить полагалось. Двое других у дальней пары переминались. Наконец один из них не выдержал, дошёл, взял, и второй за ним — а старший остался при листе. Он единственный из четверых, надо думать, понимал, что они едят: то, чего нет.

Ним сидела на корточках у корзины и пересчитывала пироги сквозь холстину.

— Двенадцать, — сообщила она Айре вполголоса. — Было шестнадцать. Четыре съел Совет.

— Совет?

— Ну а кто. — Ним разгладила холстину. — Я запишу на Совет. Раз пирогов, по-ихнему, нет — пусть будет хоть запись.

Айра стояла за шаг до стойки — дальше ей было нельзя, это ей вчера объяснил ректор — за локоть, при всех, — и смотрела, как Вик ест. Он ел быстро, обжигаясь, и после

каждого куска клал ладонь обратно на дерево, будто боялся, что стойка без него остынет. Жилы под ладонью дышали синим светом — мимо. Ни на него, ни на пироги. Двадцать лет, ладонь на дереве, пирог с капустой. По уму, ему бы дрова возить, а не границу держать. Ну, границу тоже кто-то должен. Хоть с капустой.

Ладно. Значит, у Совета на дороге трое с листом — и один, который ест. Такого можно прикормить. Уже кое-что.

Марга ушла с корзиной, Ним — за ней, и серые ещё доедали, когда к стойкам пришёл Арден.

Он шёл по дороге пешком, с пустыми руками, и это было правильно — она ему вчера велела: «Руки они помнят дольше лиц: что нёс — запомнят, кто нёс — нет. Ничего не неси». Он шёл туда и обратно ни за чем — только затем, чтобы она посмотрела. Вчера она смотрела на дерево, сегодня собиралась смотреть на людей.

— Ты идёшь, — велела она. Она стояла на инее, у самой обочины, не входя. — Я смотрю.

— На что?

— Не на жилы. На жилы мы вчера насмотрелись — они честные, с ними всё просто. Я смотрю на палец. А ты слушай меня и смотри на дорогу.

Вчера она это поняла и всю ночь укладывала в голове, как укладывают добычу по карманам: что куда, чтобы не звякнуло. Дерево не обманешь: слышало Знак — задышало си-

ним, и так с первой осени. Зато при дереве стоят четверо, и решают всё они: старший ищет строку в листе, а лицо сверить забывает. Значит, идти сквозь стойки надо было так, как она сама три года ходила мимо стражи с полными карманами: не мимо копья — мимо глаз.

Арден пошёл, и дерево задышало на него сразу, как вчера: синий свет побежал по всем четырём парам, по порядку, ярче. Старший поднял голову — на свет, не на человека. Палец лёг на лист.

— Имя.

— Арден.

Палец пошёл вниз по столбцу. Айра смотрела на палец и говорила Ардену в спину — негромко, но так, чтобы он слышал. На обочину серые не смотрели, а значит, и не слушали.

— Палец пошёл — стой и не смотри на него. Смотри на дорогу. Тот, кто не смотрит в глаза, забывается быстрее. Ты это знаешь лучше меня.

— Знаю.

— Палец встал — это тебя нашли. Вот сейчас. Теперь он поднимет глаза. Не поворачивайся к нему лицом — дай ему затылок. Лицо он не сверит всё равно, а с затылком ему будет проще.

— У меня и затылок незапоминающийся? — спросил Арден в дорогу, не оборачиваясь.

— У тебя всё незапоминающееся. Затылок просто не при-
творяется.

Старший поднял глаза. Посмотрел на Ардена — на спину, на плечи, на затылок. Палец с листа съехал. Взгляд ушёл на дорогу, на туман, на что угодно. Пометки не появилось.

— Он тебя отпустил. Видишь, второй ладонь с дерева убрал? Он ладонью слушает, дышит дерево или уже нет. Перестало дышать — значит, тебя дочитали. Ладонь ушла — ты прошёл. Иди.

— Проезжай, — велел старший дороге. Пешему — «проезжай»: слово у него было одно на всех. Совет, видно, на словах экономил: одно — и на все случаи, как у мытников «положено».

Арден прошёл последнюю пару, дошёл до тумана, постоял и повернул. Обратно — то же самое, тем же порядком: свет, палец, «имя», затылок, глаза, дорога. Только на этот раз Викел последний пирог и ладони на дереве не держал — этой подсказки не было, и Айра следила за одним пальцем. Старший поднял глаза, посмотрел, забыл.

Арден вышел на иней к Айре, и лицо у него было такое, будто он только что не прошёл, а прочёл: стойку, палец, всё вместе.

— Обычно ты учишь, как не попадаться, — заметил он.

— Тебя учу, как попадаться правильно. — Она это ответила спокойно, прямо, как своему. — Дорога теперь на две части поделена. Одна половина твоя, другая моя. Моя — вот, до первой стойки. Дальше ходишь ты.

— Я не против.

— Я знаю. Ты никогда не против. — Она посмотрела на его руки — пустые, как велено. — И ещё. Если старший станет пить — у них там кружка, я видела, — иди в это время. С кружкой в руке пальцем по листу не водят.

Арден кивнул — он запоминал так же, как она: молча, по карманам.

А потом из тумана вышла карета.

Не сани. Карета, тёмная, закрытая, без герба на дверце. Там, где у карет бывает герб, было просто гладкое тёмное дерево: карета была ничья — то есть Совета, — и от этого делалось хуже, чем от любого герба. Брр. Пара вороных шла шагом. Кучер сидел прямо и ни на что не глядел: ему, поди, за это и платили.

Серые сделали то, чего не делали ни при ком: прижались к стойкам, к самой обочине, все четверо разом, и Вик с ними, дожёвывая. Старший лист не поднял. Дерево на карету не задышало вовсе: жилы дышали синим, сонно, мимо, как на возчика Гурта, которого стойки не читают совсем. Кареты для них не было. Она доехала до последней пары и встала, и кучер ничего не спросил: ждал.

Не за мной. Я не выхожу. Я тут вроде мебели — за мебелью не приезжают.

Она стояла на инее и не двигалась, Арден рядом стоял так же, и Знак под рубахой молчал, как ему велели. А карета ждала, и ждала долго. Наконец старший подошёл к дверце, наклонился к окошку — окошко было задёрнуто — и про-

говорил туда несколько слов. Первых Айра не расслышала. Последние — расслышала:

— ...не сегодня.

Кучер повёл вороных задом, из горла, шагом: развернуться между стойками было негде. Вороные пятились и всхрапывали. За первой парой карета развернулась и пошла обратно в туман. Пустая. По тому, как её мотнуло на повороте, было ясно: пустая.

— За кем это? — спросил Арден. Спокойно, будто про цену.

— Не знаю.

Это была чистая правда, и Айра выложила её просто, как медяк на прилавок, без стука. Она и впрямь не знала. Знала только, что карета без герба ждала у стоек имени, и имени ей сегодня не дали. «Не сегодня» — значит, в другой день. Слово «сегодня» ей не понравилось.

— И тебе доброй дороги, душа-человек, — сообщила она туману, куда ушла карета. Негромко: карета не слышала, а стойки обочину не читали. Так она с улицы провожала всё, что желало ей зла и уезжало, и до сих пор это ни разу не подводило.

— Иди, — велела Айра Ардену. — Дальше, до моста, где кончается чёрный камень, если дорога пустит. Погляди, куда она поехала. И вернись к ужину: суп не ждёт.

Арден пошёл в туман второй раз за утро. Как его читали и забывали, она уже не смотрела. Она смотрела на Вика: тот

вернулся к стойке и положил ладонь на дерево, и дерево задышало ему в ладонь, будто ничего и не приезжало.

* * *

Виерна вывела Тень к воротам после полудня — под самую арку, откуда дорога и стойки были видны все, от первой пары до последней.

— Морок, — начала она без «здравствуйте», как всегда. — Вязать вы умеете с осени. Все, кроме одной. — Она не посмотрела на Айру: ей не нужно было. — Морок, который никто не проверяет, — не морок, а картинка. Теперь — применять. Применять — значит на кого-то.

И кивнула за арку — на дорогу, на четверых серых, которые стояли у своих стоек и от нечего делать глядели сюда.

— На них? — спросил Юст. Не испугался — уточнил: ему было важно, чтобы всё было по правилам.

— На них. Сделайте так, чтобы они увидели то, чего нет. Каждый — своё. Время — пока держится.

Тень стояла у арки, в двух шагах внутри двора: Юст, Ним, Кейра, Айра и то место в ряду, где стоял Тевр. Место выдавала Ним — она всегда подвигалась. Айра стояла последней и вязать не собиралась: нить у неё не шла, это выяснилось ещё в первую осень, при всех, на замере. Она видела чужое плетение насквозь, до последнего узла, а своего не могла связать и на огонёк. Виерна это знала лучше неё.

— Сол. — Так и вышло. — Вы не вяжете, и не старайтесь. Вы будете проверять. Скажете мне, какой морок рассыплется первым и почему. Вслух, при всех: пусть слышат.

Айра кивнула — пресно, по-ученически. Проверять она умела. Проверять — это и было её вязание. Только глазами мороков не проверяют: надо всякий раз прикрыть глаза и позвать тьму, немного, на один вдох, чтобы поднялась по щиколотку и опала.

Первой пошла Кейра.

Она встала перед аркой, лицом к дороге, и подняла ладонь — так же, как на учебной лампе, где огонёк садился ей на палец с первого раза. Нить у Кейры была тонкая и шла гладко. Айра видела, как она пошла: от ладони вверх, к своду арки, оттуда вниз по обеим сторонам — и между сторонами стало заполняться камнем. Серым, старым, в цвет кладки, ряд за рядом, снизу вверх, как настоящая стена, только без раствора и в сто раз быстрее.

Через минуту ворот не было — была стена. Глухая, ровная, в цвет всего остального: академия с дороги закрылась наглухо, будто никогда и не открывалась. Айра прикрыла глаза и посмотрела сквозь тьму — на вдох, по щиколотку, как всегда, когда проверяла, — и увидела сквозь стену дорогу, стойки и серых, которые смотрели на стену и не понимали, куда делись ворота. Старший взял лист и пошёл к стене. Дошёл до первой пары, встал: дальше своих стоек он не ходил. Постоял с листом перед камнем, которого не было, и

лист ему ничем не помог.

Из Корпуса вышел лектор Эйн — поглядеть, что там опять, — дошёл до арки, привалился плечом к стене Кейры и уснул. Стена была морок, опереться на неё было нельзя — прошёл бы насквозь. Но Эйн на стены и не опирался. Он к ним прислонялся, а спал сам, стоя, и стена была ему нужна для этого примерно как косяк: для компании. Двое первокурсников Архива, которые теперь ходили за ним парой, встали рядом — на всякий случай.

А потом через двор прошёл Кессельроде.

Со свитой, как всегда, — к воротам, поглядеть на дорогу: ходили все, только он один ходил так, будто дорога ему что-то должна. На стену он не посмотрел. Он ни на что не смотрел, это было его свойство с рождения, а второе его свойство было такое: чужое плетение при нём глохнет. На дороге при нём гасли стойки, тут погасла стена: он прошёл сквозь камень Кейры, как сквозь дым, вышел на дорогу, поглядел на стойки вверх и повернул обратно. Свита осталась внутри. Свита на стену смотрела — и стояла перед ней, четверо в красном, вежливо, как перед дверью, которую не велено открывать. На дороге серые увидели, как из глухой кладки вышел человек и ушёл в неё же. Старший посмотрел в лист. В листе про такое тоже не было.

— Стена на трёх узлах, — доложила Айра. Вслух, как велено. — Два держат. Третий, левый, дышит: кладка у левого края плавёт, если смотреть. Они не смотрят.

— Прилично, — определила Виерна. — Снимайте.

Кейра опустила ладонь, и стена ушла — не рассыпалась, а разошлась по стезжам, снизу вверх, как вязалась. Эйн остался стоять, привалившись плечом к тому, чего не стало, и разницы не заметил. Первокурсники подставили плечо — для порядка, не для него. На дороге серые увидели ворота там же, где они стояли всегда, свиту Кессельроде, которая стояла перед ними всё это время и теперь делала вид, что так и было задумано, — и старший вернулся к своему листу так, будто ничего не произошло. За это ему, похоже, тоже платили.

Потом пошёл Юст.

Он с утра смотрел, как читают дрова, и, видно, думал об этом весь день. Нить у него шла толсто, с нажимом, и он её не поднял, а вытолкнул — прямо в арку, на дорогу. На чёрном камне, в трёх шагах от ворот, встали сани.

Сани с дровами. Берёза, осина, две колоды, поленья горкой, верёвка поперёк: Юст запомнил обоз весь, до последнего сучка. Одного не хватало — лошади. Сани стояли на дороге сами по себе, с пустыми оглоблями: лошадь Юст просто не успел.

— Ход, — сказала Виерна. — Раз стоят — пусть едут.

И сани поехали.

— Едут! — закричал с выступа тот первокурсник, которого после каникул привёз дядя. Он теперь кричал это на всё, что двигалось, а тут двигалось.

Сами, с пустыми оглоблями, — деревянно, толчками, буд-

то их тянули за верёвку, — по чёрному камню, к стойкам. Серые смотрели на них все четверо. Вик положил ладонь на дерево — заранее, на всякий случай. Старший поднял лист.

Сани въехали в горло. Дерево не задышало — ни одна жила. Старший водил пальцем по столбцу, поднимал глаза на поленья, опускал: он читал дрова второй раз за день, так же, как читал утром.

— Не читается, — доложил он второму.

— Лошадь? — спросил второй.

— Лошадей не читаем.

— А нет лошади.

Старший это проверил — посмотрел на оглобли — и полез в правило искать сани без лошади. Правило на этот счёт молчало, а сани доехали до середины горла, встали между второй парой и третьей, там, где утром стоял настоящий обоз, — и кончились.

Не рассыпались, не растаяли. Кончились, как свеча: были — и нет. Чёрный камень под ними голый, четверо серых стоят вокруг пустого места, а старший держит палец на столбце, где никаких дров нет и не было.

У ворот засмеялись.

Первыми — первокурсники, которые набежали на «едут» и теперь стояли у самой арки. За ними Тобб у поленицы, гулко, в шапку. За ним Аскель со своими, от будки с гвоздём, а потом уже все, кто был в этот час во дворе. Смеялись громко и долго, и Айра знала этот смех: он был готов ещё

третьего дня, когда Кессельроде ходил на дорогу и обратно и стойки его пропустили. Тогда смех не вышел. Вышел сейчас. Правило «чего не читается — того нет» сбылось у стражи на глазах, буквально, до пустого места на дороге.

— Приемлемо, — сказала Виерна Юсту и замолчала на полсекунды: в этом молчании у неё и стояла настоящая оценка. — Вы показали им то, что они и так думают. Это самый лёгкий морок из всех. Дальше будет труднее.

Юст записал — Айра видела через плечо: «Выдано — сани. Принято — смех» — и записал это с достоинством.

— Ним.

Ним вязать умела, но ей это было не по душе: вещь, которой нет, у запасливого человека вызывает не гордость, а тревогу. Она связала полную корзину и поставила её у первой стойки, на месте утренней корзины Марги: шестнадцать пирогов под холстиной, все на месте, ни одного не съедено. Серые на неё посмотрели. Вик посмотрел дольше всех.

— Это долг, — объяснила Ним. Не Виерне — Айре, вполголоса. — Четыре съел Совет. Я возвращаю Совету то, чего нет. Мы квиты.

— Прилично, — определила Виерна. — Снимайте, пока не потянулись.

Вик, судя по лицу, потянулся бы.

— Адепт Тевр.

Тевра не было видно, и все повернулись туда, где подвинулась Ним. Нить пошла оттуда — из пустого места, вверх, —

и Айра увидела её первой. Старательная, ученическая нить: её тянули не спеша, будто вязали не морок, а шарф. И рядом с пустым местом, в шаге, стал человек.

Тевр.

Рыжеватый, в веснушках, вежливый до подбородка, — Тевр, каким его видели осенью и с осени не видели. Он стоял, чуть сутулясь, с лицом человека, который извиняется заранее, и был весь настоящий, до последней веснушки. Только Айра видела, что он связан: нити шли по нему, как швы по хорошей куртке, аккуратно и часто. Все остальные видели просто Тевра.

Никто не засмеялся. Ним смотрела на него, как на вещь, которую давно искала по карманам и вдруг нашла. Юст закрыл тетрадку. Кейра — Айра это заметила и запомнила — отвернулась. Кейра, у которой в первую зиму умер брат, лучше всех в Тени знала, каково это, когда рядом стоит тот, кого нет.

— Вот, — сказал невидимый Тевр из пустого места. Голос у него был обычный, а морок стоял молча: рта он ему не связал. — Это я. Примерно. Я не уверен насчёт носа.

— Нос верный, — сказала Ним.

Морок держался, сколько держался, — минуту, может, две, дольше такие вещи не стоят, — и погас, как гаснет лампа, в которой кончилось масло. На его месте снова было ничего. Ним подвинулась обратно.

— Приемлемо, — определила Виерна, и полсекунды у неё

на этот раз были другие. — Вы связали себя таким, каким помните. А с осени вы поправились, адепт: Марга считает миски. Вяжите шире.

Шире. Он у нас невидимый четвёртый месяц, и всё это время кто-то считал, сколько он ест. Ладно. Хоть кому-то он виден — мисками.

— Сол. Итог.

Айра итог знала с самого начала.

— Первыми кончились сани, госпожа декан: в них навязано больше всего, да ещё и ехать им пришлось. Юст их погнал, потому что вы велели. Потом Тевр: он вязал с оглядкой. Стена стояла бы дольше всех — на трёх узлах, один дышит. Корзина стояла бы вечно: в ней нечему ломаться.

— Почему?

— Потому что корзина скучная. — Это была наука Виерны, ещё с первой осени. — Настоящие вещи не стареются. Старается ложь.

— Метод засчитан. — Виерна повернулась к дороге, к четверым серым, которые снова стояли по своим местам, будто ничего не было. — И вот что запомните — все, и вы, Сол, в первую очередь. Их дерево не видит мороков. Ни стены, ни саней, ни человека. Оно видит Знак — и больше ничего. Всё, чего оно не видит, — наше. — Она помолчала: как раз столько, чтобы это успели услышать. — А теперь второе. Они смотрели. Всё занятие. Смеялись вы — а запомнят вас. Это тоже наука, только не моя.

И ушла — прямая, застёгнутая, как всегда, — а Тень осталась стоять под аркой, глядя на четверых, которые глядели на неё.

А они, между прочим, глядели уже не оттуда, откуда утром. Утром старший с листом стоял у последней пары, дальней, у самого тумана, а Вик с ладонью — при ней же. Теперь все четверо стояли у первой — той, что ближе к воротам, — и старший держал лист так, будто всегда тут и стоял. За день стража перешла с дальнего конца горла на ближний. То есть к поварне. Айра это заметила и положила туда же, куда клала всё: если так пойдёт, к весне Вик будет держать ладонь на косяке кухни, и Марга ему это позволит.

Всё, чего оно не видит, — наше. Спасибо, госпожа декан. Три года всё, чего стража не видела, было моё. Теперь, выходит, и здесь.

Из Архива вышел Лиск.

Айра знала его в лицо: щуплый, второй курс Архива. В первую свою осень он сдавал зачёт по плетению, и узор у него лёг косо — заплаткой на локоть, это тогда видели все. С тех пор, говорили, он расплетал всё, что ему попадалось: узоры, плетения, чужие шарфы. Он пришёл поздно — морок уже погас — и встал у пустого места, где тот стоял. Осенью Тевр подобрал чужое кольцо и по доброте пошёл искать хозяина. Хозяин нашёлся, возчик Гурт, а кольцо к тому времени село Тевру на палец и слезать не думало. Кто его носит, того не видно. В Архиве это, похоже, знали лучше всех.

— Тевр, — позвал Лиск воздух: к невидимому Тевру Архив давно привык. — Я видел из окна. Это ты был?

— Примерно, — отозвался Тевр с той стороны, где Ним подвинулась. — Нос верный.

— Слушай. — Лиск сказал это просто, как соседу через забор. — Мы можем снять с тебя кольцо. По-настоящему снять, не морок. Кольцо — это плетение, обычное, только тугое: его тянули, вот оно и держится. Такие у нас на втором курсе расплетают. Нужно шестеро, а у нас есть курс. Хочешь — сегодня ночью.

Тевр молчал. Ним подвинулась ещё — там, где стоял Тевр, что-то происходило.

— Гурт говорил — отстань, — вставила Айра. — Отстанешь — само сойдёт. У него так и сошло.

— Гурт ждал, пока само сойдёт. — Лиск посмотрел на неё вежливо и мимо: она была не по теме. — Мы ждать не будем. Мы умеем снимать.

— А если не снимется? — спросил Тевр из пустого места. Осторожно: невидимым «нет» даётся трудно, а «да» — ещё труднее.

— Снимется. С шарфов снималось.

Ну вот. Аскель тоже был Архив, и у Аскеля вышла будка с гвоздём — та, честная, за полмедяка. Из Архива в этом году выходили вещи, которых никто не просил. Эту, похоже, попросят.

— Я подумаю, — сказал Тевр. — До вечера.

— Думай, — согласился Лиск. — А мы пока начнём.

И пошёл обратно в Архив, глядя себе под ноги, — считать, поди, шестерых. Архив к ужину не вышел: ужинать там, видно, было некогда.

* * *

Вечером на кухне было жарко, как всегда, когда Тай сидела близко к печи. От котла шёл пар, пахло луком и хлебом, лист едоков висел на своём гвозде у косяка. Марга гремела черпаком так, будто черпак ей за что-то ответил.

Тай ела и между кусками глядела на Айру с прищуром — не тем, что про дисциплину, другим, — пока не выложила то, что держала весь день:

— Я видела карету.

— Все видели.

— Она стояла и ждала. — Тай отложила ложку: разговор был важнее ужина, а с ней такое бывало нечасто. — У нас в верхнем городе такие ездили. Без герба. За теми, кого стыдно. Я думала — за мной. Я приготовилась: сундук собрала, Бреку сказала, кому отдать плац. Потом она уехала. — Тай помолчала, и обида в ней была самая настоящая. — Чего ждала?

Айра посмотрела на дверь. Она это делала всегда, прежде чем сказать что-нибудь вслух: двери — первое. Дверь была закрыта. Марга стояла спиной, но Марга спиной читала луч-

ше, чем иные глазами, и это было ладно: Марге можно.

— Имени. — Айра вернулась к миске. — Кучер ждал, чтобы ему назвали, за кем. Не назвали.

— А кто называет?

— Тот, с листом. Старший.

— А он с чего возьмёт?

Вот это и был вопрос. Айра его себе задавала с полудня, и ответ у неё был, про неё саму. Только вслух его говорить не хотелось: вслух он становился правдой.

Ответил ректор.

Он стоял в дверях кухни. Айра не слышала, как он вошёл, — а она слышала всех, — и это значило одно: он стоял там уже давно, с самого «за кем». Без плаща, по-домашнему, с пустыми руками.

— С листа. — Он не вошёл. — Если кто-то войдёт в стойки и не совпадёт с записью — старший назовёт кучеру имя. Карета — за этим. Их зовут «по здоровью». Совет так пишет: увезён по здоровью. Это значит — перестал существовать. Сегодня карета приехала без имени и уехала без имени. Она вернётся: кареты не ездят зря.

— А кто им пишет, кто тут есть? — спросила Тай.

— Ольдер. Каждую неделю, в столицу. — Ректор ответил так же просто, как «с листа». — Только пишет он им не про нас. Он двадцать лет пишет им, что у нас всё спокойно, — чтобы они не приезжали. Он не двойной. Он пуганный: пока они далеко, он их отговаривает, а когда приезжают — делает,

что велят. В этом году ему не поверили.

Марга обернулась от котла. Черпак в руке стоял торчком.
— Господин ректор. У меня стоя не едят. Садитесь.

Он сел на лавку, напротив Тай, и это было так странно, что Тай на секунду забыла жевать: ректор на кухне, ректор на лавке. Марга поставила перед ним миску, не спрашивая, и он взял ложку — правильно, за самый конец — и есть не стал. Тай смотрела на это так, будто и это было нарушение дисциплины. Возможно, так оно и было.

— Кто не совпадёт? — Тай это спросила прямо, и Айра увидела, как Марга у котла перестала греметь.

— Я не знаю. — Ректор ответил так же прямо, и легче от этого не стало. — Знаю, зачем они стоят. Совет ещё осенью понял, что через академию ходят люди, которых в его списках нет. Понял, а доказать не может: у него на всю адептку Сол одно слово с переписи, «вздых», а вздохом никого не увезёшь. Ему нужно, чтобы она вошла в стойки и назвалась: тогда дерево отзовётся на неё при страже и при листе, старший запишет имя, и за именем приедет карета. Вот они и ждут, чтобы она вышла. Поэтому она через стойки не ходит. Ходит Арден: дерево его читает, а стража его тут же забывает.

— А если никто не пойдёт? — спросила Тай. — Никто, всю зиму. Мы же можем. Дрова есть, соль есть. Я греть могу. Я посчитала: комнату я грею за час, коридор — за два, кухню Марга сама. Корпус — за ночь, если не спать, а я могу не

спать, я проверяла на плацу. На дровах сэкономим половину. Мать говорила: если что — грей, тебя для того и растили.

Айра посчитала за ней: дров у Скарба на месяц, а Тай одна на весь Корпус, и выходило, что Тай хватит дольше, чем дров.

— Тогда они войдут сами.

Он это выговорил тем же голосом, каким объявлял «занятия с завтрашнего дня». Тай посмотрела на Айру, Айра — в миску. В миске был суп, и суп был хороший, и в этом сейчас была вся её защита: ешь.

— Когда? — спросила Тай.

— Когда решат, что ждать — хуже, чем войти. — Он помолчал. — Это они умеют считать. Они это, собственно, только и умеют.

— Мороков они не читают. — Это Айра ему, не Тай: докладывала смотрительница. — Стойки видят Знак и больше ничего. Стража верит стойкам. Что дерево не видит — того для них нет. Сани были ненастоящие — и для них саней не стало.

— Я видел. Полдвора видело. — Он это сказал без улыбки, и Айра поняла, что дальше будет не похвала. — Сегодня Тень провела сквозь их стойки сани, которых не было, и закрыла им ворота стеной, которой нет. Совет этого не запишет: записывать нечего. Он это запомнит. — Он посмотрел на неё. — Госпожа декан вам это сказала?

— Сказала. Что запомнят нас.

— Она права. Она обычно права: это её худшее свойство.

— А морок горит? — спросила Тай. Она это спросила не просто так: у неё с осени был список того, что горит, и список того, что нет, и второй был короче.

— Нет.

— Тогда какой в нём смысл?

Дверь открылась, и вошёл Арден.

Он был с мороза, с пустыми руками — как велено, и Айра это отметила первым делом. Глаза у него были такие, будто он весь день глядел на что-то далёкое. Кот вошёл следом, обошёл лавку и сел у печи, в самом жарком углу. Место это на кухне считалось пустым: Кота видели четверо — она, Арден, Тевр со своим кольцом и кошка ректора Дисциплина, — а прочие туда просто не садились и сами не знали почему. К мосту он ездил с Арденом, и морда у него была довольная.

— В нижнем городе стоят такие же. — Арден это выложил с порога, без «здравствуйте»: здороваются те, кого запомнят. — У моста. Восемь столбов, четверо серых. Читают всех, кто на Знаковую дорогу. И карета при них. Та самая: вернулась и стоит, кучер спит.

— Пустая?

— Пустая. — Он сел рядом с Айрой, и Марга поставила миску и перед ним, не глядя: этого она тоже знала. — Спрашивал, за кем. В городе говорят — по здоровью. Кого — не говорят. Не знают.

Машины Совета она считала: их две. Одна стоит тут, на

их дороге. Вторая осенью считала кровь в Большом зале и уехала с чужой артелью, и вот она, у моста. Далеко не уехала.

Спросить, читали ли у моста Кота, она при Марге не могла: Марга про Убытка не знала, и знать ей было незачем. Да и спрашивать было нечего: Убытка нигде не читали, и морда на этом настаивала.

Ректор кивнул: этого он, похоже, и ждал.

— Дорога заперта с двух концов. — Айра посчитала это ещё утром, а вслух вышло только сейчас. — Тут и у моста.

— Заперта, — согласился он. — Это, адептка, и называется граница.

Тай подвинула Ардену хлеб и половину своего супа — молча, и Арден взял. Марга у котла не оборачивалась.

— Серые встали ближе, — сказала Марга в котёл. — К самым воротам. Я из окна видела.

Ректор на это ничего не ответил. Он смотрел на лист едоков на гвозде — долго, как на расписание, в котором надо что-то передвинуть, — и не передвинул.

Она доела суп. Суп был хороший.

* * *

Ящик она перенесла в тот же вечер.

Ящик смотрительницы — огарки, кремь, три гвоздя неизвестно откуда и свеча на чёрный день, всё имущество должности — с лета стоял у неё в комнате, у двери. Там ему

и полагалось. Что делают со свечой в чёрный день, она не знала, но берегла. Айра взяла его под локоть и понесла наверх. Не потому, что у ректора сохраннее: красть в академии этой зимой было уже некому. Потому что она посчитала, как считала всегда, и вышло, что от приёмной до ниши, где стоит фонарь Стихоплёта, ближе, чем от крыла Тени. На семь ступеней ближе. Семь ступеней за зиму — это, если считать, два дня.

Дисциплина с подоконника оглядела ящик — с видом хозяйки, у которой родня не только понаехала, но и, того гляди, привезла вещи.

— Не тебе, — сообщила ей Айра. — Это казённое.

Дисциплина отвернулась к окну: чужое имущество её не занимало.

Ректор был у стола, и второй стул стоял у окна, где ему и полагалось стоять. Айра поставила ящик рядом со стулом, на пол, к стене, — так, чтобы ни он, ни она об него не спотыкались, — и села. Ректор посмотрел на ящик. Потом на неё. Он ничего не спросил, и она ничего не объяснила, и хорошо: объяснять пришлось бы, что ей хочется бывать тут каждый вечер, а такого она вслух не сказала бы и под ножом.

— Стул у окна я не убираю, — заметил он через какое-то время. — Ящик — рядом. Это разумно.

— Это на семь ступеней ближе к нише.

— Я так и понял.

В список, который никому, легло ещё одно. Она перенесла

всё имущество должности к его очагу и назвала это арифметикой. Арифметика была честной: семь ступеней есть семь ступеней. Причина — нет.

Огонь в очаге горел. Окно за спиной выходило на озеро, а озеро, как всякую зиму, не замерзло. В нём стояла академия — вся, окнами, вверх ногами, — и в этой академии сейчас, ночью, горело окон меньше, чем днём. Корпус ушёл в темноту. Крыло Тени — тоже, до последнего окошка. Клинок спал: Клинок спит рано, у Клинка плац.

Архив не спал.

В озере, вверх ногами, горел весь второй этаж Архива — все окна подряд, до одного, — жёлтые, немигающие. Так не читают. Так считают, всем курсом сразу, когда для дела нужно шестеро. Днём они увидели у Тевра лицо. Похоже, этого хватило.

— Архив не спит, — доложила Айра окну.

Ректор повернулся и тоже посмотрел в озеро.

— Архив всегда не спит. — Он это сказал, как про расписание. — Не весь. Сегодня — весь.

Ох, не к добру это всё...

Глава 6. Расплести

Свечу на чёрный день она берегла с лета, а что с ней делают в чёрный день, не знала. Теперь, похоже, узнает.

Айра присела к ящику, откинула крышку и вынула свечу: целую, толстую, из тех, что горят всю ночь и не жалуются. Ректор посмотрел на свечу.

— Чёрный день?

— Я думаю, они всё-таки решили снимать кольцо с Тевра.

— Тогда да.

«Не ходите» он не сказал. Он вообще больше ничего не сказал, а это, если подумать, значило одно: он тоже считал, что туда кто-то должен пойти. И выходило, что она.

Ну да. Кто у нас смотрительница? Смотрительница у нас я. Иди, смотрительница. Смотри.

Двор лежал белый и пустой. Снег с вечера перестал, и на нём была одна цепочка следов, от мастерской к Архиву: аккуратная, шаг в шаг, будто человек очень старался идти прямо и никого не задеть. Так в академии ходил один человек, и его не было видно. Следы кончались у двери Архива, а Тевра при них не было. Выходит, Тевр уже согласился. Или согласились за него.

Второй этаж горел, все окна до одного. По свече на окно, не меньше, и Айра, поднимаясь по лестнице, прикинула, во что это Архиву обходится. Выходило дорого, а значит, дело

серьёзное: за так Архив свечей не жжёт.

В читальне пахло воском, старой бумагой и мокрой шерстью. Шестьдесят человек в одной комнате пахнут как шестьдесят человек, с этим ничего не поделаешь, хоть ты их Архивом назови. Столы были сдвинуты к стенам. Посередине оставили пустое место, и вокруг пустого места сидели все: на полу, на сдвинутых столах, на подоконниках, где горели свечи. Лиск, тот самый второкурсник, который вчера при всех пообещал Тевру снять кольцо по-настоящему, сидел ближе всех к пустому месту. Верен стоял у стены с листом. Веста Ланн держала фонарь.

Ну конечно: кто держит свет, тот стоит в сторонке, и потом никто не скажет, что она не помогала. Айра эту девушку насквозь видела второй год и ни разу ничего не нашла. Вот и сейчас не нашла. Это и было подозрительно.

Фонарь у Весты был пустой: свеча в нём сгорела до лужицы, а Веста держала его всё равно, потому что ей велели держать свет.

— Ты вовремя, — обрадовался Лиск. — Нам нужен свет над кольцом.

Вот, оказывается, что делают со свечой на чёрный день: её отдают Весте.

Айра отдала, и Веста вставила свечу в фонарь, зажгла от подоконника и поблагодарила с завитком. Фонарь стал светить на пустое место посреди читальни. Айра посчитала выходы: выход был один, дверь, и это было плохо, но не хуже

обычного. Потом посчитала людей, и людей было шестьдесят, что тоже было плохо.

— Где Тевр?

— Здесь, — отозвался Тевр с пустого места. Голос у него был вежливый, как всегда, и чуть выше, чем всегда. — Меня привели. За палец.

— Мы его нашли у мастерской, — объяснил Лиск. — Он там думал.

— Я ещё не додумал.

— Додумаешь, когда снимем. — Лиск это сказал просто, по-соседски. — Слушай. Нужно шестеро, чтобы кольцо не дёрнулось, пока снимают. Нас шестьдесят. Стало быть, снимем в десять раз лучше.

— В девять целых и две трети, — поправил Верен от стены. Он не поднял головы от листа: он писал. — Адептка Ланн держит свет, я записываю, мы не считаемся. И это если все тянут одинаково.

— А они одинаково?

— Нет.

— Значит, лучше, — заключил Лиск.

Айра на это ничего не ответила. С человеком, который делит шестьдесят на шесть и получает «лучше», она на улице спорить отучилась: таких сажали в яму, и они и в яме делили.

— Гурт говорил, что надо отстать, — напомнила она всё-таки. — Оно на хотении держит. Пока хочешь снять, сидит. Перестал хотеть, сошло. У Гурта так и сошло.

— Мы не хотим, — ответил Лиск. — Мы сделаем. Это другое.

Ага. Все шулера на рынке тоже не хотели, они делали. Всех били.

Шестеро сели вокруг пустого места. Кольцо сидело у Тевра на пальце, а пальца видно не было, и его искали на ощупь, вежливо, как в темноте ищут чужую руку, чтобы поздороваться.

— Дай руку.

— Даю.

— Это не рука.

— Это лицо. Рука ниже.

Руку нашли со второго раза. Шестеро взяли невидимого Тевра за пальцы, по пальцу на каждого, и пятеро из шести держали, судя по лицам, воздух. Держали старательно, один даже поправил хват. Шестой держал что-то настоящее: у него одного лицо было озабоченное.

— Кольцо, — доложил он. — Тёплое.

— Держи, — велел Лиск. — Я читаю.

Он сел напротив, закрыл глаза и положил ладонь поверх невидимой руки. Узор, вложенный в вещь, глазами не ищут, это Айра помнила с зачёта у Виерны: его читают ладонью, и где работа, там под кожей саднит. Лиск читал долго. Ладонь у него ходила над невидимой рукой медленно, кругами, будто над печью, где горячее. Губы шевелились: он называл стежки, по одному, как первокурсник буквы.

— Ллеу... нет. Не ллеу. Асио? Нет. Не знаю. Не знаю. Опять не знаю.

Архив повторял за ним шёпотом, шестьдесят ртов, и Верен у стены писал. «Не знаю» он, судя по перу, тоже записывал.

— Старый, — определил наконец Лиск и открыл глаза. — Не наш. Половину стежков по имени не знаю. Но начало есть. Саднит с краю, где стёрто.

Айра прикрыла глаза и позвала тьму — по щиколотку, на один вдох, только чтобы видеть, — и посмотрела на кольцо сквозь неё.

Кольцо было узлом. Маленьким, серым, затянутым мокрой верёвкой, как мешок: высохла и держит. Стежки шли тесно, один в другой, старые, без блеска, чужой руки. И начало у узла было с краю, там, где золото стёрлось. Лиск не соврал.

— Чисто, — признала она. Вслух, при всех: это ему полагалось.

— Я знаю. — Лиск и не повернулся. — Беру.

Он подвёл под первый стежок свою нить, тонкую, светлую, из собственной ладони: Айра видела, как она вышла из-под кожи и легла под чужой стежок петлёй. Потом он поднял ладонь, медленно, будто под рогожей спала кошка.

И нить вышла. Серая, старая, она пошла из кольца вверх, стежок за стежком, как нитка из шва, если найти правильный конец, и легла Лиску на ладонь послушно, как своя. Дальше

ей полагалось идти самой: в книге так и написано, нашёл конец, не мешай.

Ну. Чисто. Обидно, а чисто. Ладно, Лиск, ты у меня в списке.

— Пошла, — выдохнул Лиск. — Теперь все. По стежку на руку. Помогаем.

— Не надо помогать, — попробовала Айра. — Она сама.

— Мы Архив. — Это Лиск ей объяснил терпеливо, как объясняют возчику, почему бумага важнее муки. — Зачарование — это наш хлеб с солью. Хольт!

— Взял, — отозвался Хольт.

Хольт был плечистый, из старших, единственный плечистый человек в Архиве, поди, за триста лет. Он сидел спиной к стене, упёршись сапогами в пол, и свой стежок взял, как дверь, которую заело: всей ладонью и с уверенностью, что дверь виновата сама.

И взяли все. Айра ещё раз посмотрела сквозь тьму, как берут, и лучше бы не смотрела. Серую нить передавали по кругу, и каждый брал её своей, тонкой, светлой, из собственной ладони, и через минуту на одной старой нити, от кольца до дальней полки, сидело шестьдесят рук. Как узелки на чётках. Красиво было, что и говорить, по-книжному красиво.

— Помогаем, — велел Лиск.

И помогли: чуть-чуть, на волос, каждый свой стежок, чтобы шла ровнее.

Она не пошла.

Айра это увидела первой, потому что одна тут глядела не глазами. На третьем стежке узел встал и затянулся, как петля, которую дёрнули. А то, чем кольцо прятало Тевра, полезло из узла по нитям вверх. Не по серой. По светлым, по их собственным, как вода по фитилю: в ладонь Лиска, из ладони под кожу, дальше к Хольту, дальше по кругу, в каждого, кто держал.

— Отпустите, — велела Айра. — Оно в вас идёт.

— Сейчас, — ответили шестьдесят человек. — Ещё стежок.

— Оно не назад идёт. Оно в вас.

— Ещё стежок. — Лиск не открыл глаз. — Уже пошло.

Тогда она сделала единственное, что умела делать с чужой работой, которая ей не нравилась. Она наклонилась к фонарю и задула свет.

— Ой, — огорчилась Веста.

Стало темно: свечи на подоконниках горели, но до середины читальни им было далеко, и середина читальни пропала совсем. Айра ждала, потому что на рынке любая работа кончается, когда гасят свет. Это первое правило, и второго нет.

— Я и так с закрытыми глазами, — сообщил Лиск из темноты. — Ещё стежок.

— Ещё стежок, — согласился Архив.

Архив тянул в темноте так же, как при свете: ладонями. Ладоням свет ни к чему. Вот тебе и свеча на чёрный день:

она её задула, и никому не стало хуже.

Тьму она отпустила: вдох и так вышел длинное положенного. Потом чиркнула кремнем, со второго раза — руки ещё не отошли с мороза, — и зажгла свечу в фонаре у Весты обратно. Веста сказала «спасибо». Дальше Айра смотрела глазами, как все, а глазами вышло вот что.

Первыми пропали лица. Не сразу, а как краска с мокрой холстины: щёки, лбы, потом волосы, потом плечи и рукава, у всех по кругу, от Лиска и дальше. А руки остались. Руки держали нить, и им было некогда пропадать. Через минуту в читальне сидело шестьдесят рук: в воздухе, ладонями вверх. И при каждой руке был кто-то, кого не было.

— Это нормально? — спросил Тевр из середины.

Он спросил спокойно: ему одному было не впервой.

Потом ушёл пол.

Хольт тянул честно, всем телом: спиной в стену, сапогами в пол. Кольцо посчитало за тянущих и стену, и пол — и спрятало их заодно с ним. Айра почуяла это ногами раньше, чем поняла глазами: под сапогами было твёрдо, а видно было снег. Двор, ночной, белый, с одной цепочкой следов, лежал под ней на глубину второго этажа. Пол стоял, только глядеть на него стало не на что. За полом пошли стены, сначала та, у которой сидел Хольт, потом остальные, потом полки с книгами, потом окна и потолок. Над головой открылось небо. С неба сыпался мелкий снег и не долетал: крыша была на месте, просто её не стало видно.

Шестьдесят рук, Верен с листом, Веста с фонарём и Айра сидели в воздухе над двором на высоте второго этажа. Снизу на них глядел туман, сонно, как на своих.

— А чего все замолчали? — спросил Тевр.

— Ещё стежок, — попросили шестьдесят рук.

Стежок был последний. Кольцо звякнуло о пол, которого не было видно.

Просто упало: круглое, жёлтое, обыкновенное. Покатилось, легло у ножки невидимого стола и стало тем, чем было до всего: золотом. И на пустом месте между шестью парами рук сидел Тевр.

Рыжеватый, веснушчатый, вежливый до подбородка. Всё, как на вчерашнем мороке, только теперь настоящее, и извинялся он теперь сам, без всякого узора. Тевр посмотрел на свои руки, повернул их так и смял, потрогал нос.

— Нос верный, — подтвердил он. И заплакал.

— Тевр...

— Я не плачу. — Он вытер щёку рукавом, который было видно. — Я проверяю, что глаза на месте.

И тогда все закричали «ура». Весь Архив разом: получилось же. Айра «ура» слышала отлично. А вот кто кричит, не видела: нить ушла, и руки тоже пропали, им больше нечего было держать. Посреди двора, на высоте второго этажа, сидел Тевр, рядом сидел Верен с листом, с краю стояла Веста с фонарём, и вокруг них кричала «ура» пустая ночь.

— Мне на кого светить? — спросила Веста в пустоту, с

завитком.

— На всех, — ответили из пустоты.

— Я не вижу, где все.

— На голос свети.

— А стена где? — спросил кто-то невидимый и тут же нашёл её, судя по звуку, лбом.

Тевр глядел на кольцо на полу. По лицу было видно: кольцо он понимал, и, похоже, понимал правильно.

— Оно раздало себя, — сообразил он. — Всем, кто тянул, досталось по невидимости. По-честному: кто участвовал, тот и получил. Как фонд.

— Как фонд, — согласились невидимые. Без восторга.

— Я верну. — Тевр потянулся к кольцу. — Я надену обратно, и оно раздаст назад. Я проверю...

— Не надо!

Это крикнули шестьдесят человек, и по тому, как «не надо» разбежалось по читальне, во все углы сразу, было ясно: Архив от его помощи разбегается. Это, к слову, было первое разумное, что Архив сделал за ночь.

Тевр убрал руку. Кольцо осталось лежать у ножки стола: жёлтое, обыкновенное, ничьё, то есть Гурта.

— Так, — начала Айра. — Все живы?

— Живы! — ответили ей отовсюду.

— Тогда по одному. Кто здесь?

— Здесь!

Легче не стало. «Здесь» раскатилось по читальне, как рас-

сыпанные медяки: с пола, из-под столов, один раз из-за полки, куда кто-то, видно, отполз от волнения. Айра считала всегда, сама того не замечая, а тут попробовала и сбилась на втором десятке. Одно и то же «здесь» могло быть двумя, а могло одним, которое пересело.

— Верен. Лист.

— У меня записано, кто тянул. — Верен поправил очки, хотя они не съезжали. — По порядку.

— Читай. Отвечать по одному. Кто не ответит, того нет. Верен читал по листу без выражения, и пустота отвечала.

— Хольт.

— Здесь.

— Аскель.

— Здесь. Мы себя уже пересчитали, все на месте.

— Потом посчитаете. — Это Айра. — Дальше.

С каждым «здесь» у неё под ключицей делалось чуть спокойнее. Голос — это тоже человек, если умеешь считать, а она умела.

— Лиск.

Пустота на это промолчала.

— Лиск!

— Здесь, — ответили снизу, от самого кольца. Голос был усталый и довольный. — Снялось же.

Возразить было нечего: кольцо лежало на полу, а Тевр сидел рядом с ним, видимый целиком, до веснушек.

— Шестьдесят, — подвёл Верен. — Все. В башне спят ещё

двадцать: эти не тянули. — Он подумал. — Только спали они в Архиве, а Архива теперь не видно. Значит, и их, я думаю, тоже. Всего восемьдесят.

— В ночлежках так и считают: кто стоит — человек, кто лежит — мебель. — Айра пожалла плечами. — А мебель пропадает вместе с домом. Спросим утром.

Айра пошла туда, где было окно.

Окна не было. Было озеро, прямо перед ней, за снегом двора. И в озере, вверх ногами, стоял Архив. Весь: второй этаж, окно за окном, жёлтые, немигающие, как час назад. Озеро, видно, на такое не покупалось: башня стояла, где стояла, и вода показывала её, как показывала триста лет. Вода тут никому не подыгрывала.

Ладно. В озере есть, во дворе нет. Спрошу у ректора, какой из двух зачтёт Совет: тот, что в воде, или тот, которого нет. Ему положено знать.

Свеча на чёрный день сгорела до половины. Половину она оставила в фонаре у Весты: чёрный день, по всему, ещё не кончился.

Дверь она нашла на ощупь. Ручка была там же, где всегда, и лестница под ногами тоже. Снаружи, со двора, дверь висела в тумане одна: без стены, чуть приоткрытая. Дверь никто не тянул, вот ей ничего и не досталось. Из-за двери кто-то невидимый спросил у кого-то невидимого, где лампа.

Ректор стоял у окна, где и стоял, когда она уходила. Похоже, он так и не садился.

Она села на свой стул. Стул стоял у окна, ящик стоял рядом, а свечи в ящике не было: свеча догорала в Архиве, у Весты в фонаре, и это было как-то особенно обидно. Руки у неё замёрзли ещё во дворе, и она спрятала их в рукава. Не от него, от себя: перед начальством сидят пресно, а пресно с трясущимися пальцами не выходит.

— Архива нет, — доложила она.

— В озере есть. — Он не обернулся. — Я смотрел всю ночь. Все окна.

— А во дворе нет.

— Во дворе нет, я выходил. Там дверь. — Он подумал. — Одна. Я её открыл и закрыл. Мне сказали «спасибо». И Ольдер там. Стоит поодаль и держится за свои ключи обеими руками. По-моему, он им молится.

Вот, собственно, и весь доклад: в озере есть, во дворе нет, дверь говорит «спасибо», Ольдер молится ключам. Айра всё-таки доложила по порядку, как положено смотрительнице: шестьдесят тянули, двадцать спали, кольцо на полу, Тевр на крыльце, которого нет, Лиск доволен: снялось же.

— Тевр виден, — прибавила она. — Плачет. Говорит, что проверяет глаза.

— Он приходил ко мне. В пять утра. — Ректор это выговорил, как расписание. — Спросил, можно ли ему вернуть

Архиву видимость. Я сказал, что нельзя: кольцо один раз уже раздало не то, о чём его просили, и второй раз просить его никто не станет. Он спросил, кому можно. Я сказал, что никому. Он ушёл думать.

— Он додумает.

— Я знаю. Поэтому я велел Отту не подпускать его к Архиву с кольцом. Отт спросил, как он узнает, где Архив.

Айра на это ничего не ответила. Ответа тут не было ни у кого, а у Отта, надо думать, был список.

За окном светало. Вода в озере из чёрной делалась серой, и в серой воде, вверх ногами, стоял Архив, как стоял: окно за окном, и свечи в окнах ещё горели, жёлтые, усталые.

— Что теперь? — Это она спросила не как смотрительница. Как человек, у которого за ночь пропала целая башня вместе с людьми, а на ощупь всё на месте.

— Теперь Архив есть. — Он повернулся наконец. — На ощупь, в озере и по списку. Для Совета этого довольно: Совет в озеро не смотрит и на ощупь не проверяет. Совет смотрит в лист. В листе Архив — восемьдесят человек, и если кто-нибудь приедет их считать, он насчитает восемьдесят голосов. Это совпадает.

— А лица?

— Лица Совет не интересовали никогда.

Ну да, её три года по лицу никто не считал, и ничего, жива.

— Значит, ничего не случилось.

— Случилось. — Он это сказал без выражения, и без

выражения это звучало страшнее. — Восемьдесят человек больше не могут выйти из ворот. Знак у них на шее никуда не делся: дерево его услышит и задышит, как на всех. Стража спросит имя, невидимый ответит, и старший увидит перед собой пустую дорогу с голосом. Морок дерево не видит, потому морок и сходит с рук. А это оно видит. В листе запишут одно слово: «не совпадает». За такими и приезжает карета.

— Стало быть, Архив из ворот не ходит.

— Как и вы. — Он помолчал. — Вас таких теперь восемьдесят один.

Ну, хоть не одна. Спасибо, Архив. Век не забуду.

— Отту я скажу отмечать Архив по голосам, — продолжал он. — Виерна спросит. Я скажу: невидимые сдают наравне. Она скажет, что так и думала и что теперь ей будет труднее ставить «приемлемо».

— Почему?

— Она ставит его, глядя в глаза. Глаз теперь нет.

Айра посмотрела на озеро, на свечи в окнах Архива, на пустой ящик у ног. Ящик был казённый, и в нём чего-то не хватало, как в кошеле, из которого вынули последний медяк: вроде и не деньги, а рука тянется проверить.

Он подошёл к столу, выдвинул ящик и вынул свечу. Свою: белую, гладкую, из тех, что ректорам выдают по счёту. И положил ей в ящик, туда, где лежала та.

— На случай следующего чёрного дня.

— У смотрительницы должна быть своя.

— У смотрительницы есть ректор. — Он уже отходил к столу и на неё не глядел. — Ректор отвечает за смотрительницу. Это в уставе.

— Верен говорит, там нет такого.

— Значит, допишу.

— Тогда и я допишу. Карандашом, рядом. Что смотрительница отвечает за ректора.

— Это неразумно.

— Это бухгалтерия. Чтобы поровну.

Он не ответил, и у него это значило, что запись принята. На большее её не хватило. От этой строчки, которой в уставе нет, стало тепло и неловко разом, как бывает, когда за тебя заплатили, а ты не просила и отдать нечем.

Она посмотрела на свечу в ящике. Свеча была лучше её свечи, и с этим тоже надо было что-то делать, но не сегодня.

Начальство, ну да. Она весь разговор звала его про себя начальством — для порядка, как зовут казённым то, что бояться называть своим. Список того, о чём никому, толстел от такого вранья на глазах.

Дверь открылась без стука: стучала Тай только в те двери, за которыми могла оказаться Марга.

Она была с мороза и с корзиной. Корзина была пустая, большая, под холстиной, а над плечами у Тай дрожал воздух, как над углями, и пахло от неё капустой, тестом и морозом. Дисциплина на подоконнике подняла голову: корзину она уважала.

— Господин ректор. — Тай поставила корзину у двери.

— Дисциплина нарушена. Не у нас. У них.

— Слушаю.

— Я понесла пироги, потому что Ним считает ложки, на Архив просят восемьдесят ложек, а ложек у неё семьдесят девять, а Марга у котла, а пироги на морозе стынут за сто шагов, я проверяла, а я грею, ну я и понесла, горячие, а они стоят в снегу, все четверо, руки по швам, и на пирог не глядят, я помахала — ноль, вчера глядели, а тут ноль, а потом из тумана карета, та самая, и никто не сказал «имя», старший лист даже не поднял, дерево дышало, я видела, а люди нет, а стояли они, как у нас на плацу стоят, когда Брек...

— Тай.

— Что?

— Стой. — Айра это сказала, как Гурт говорит Ягоде. — Ты всё разом высыпала, а мне надо по одному. С начала. Куда пошла?

Тай набрала воздуха, и жар над плечами у неё дрогнул.

— К стойкам. С пирогами от Марги, как всякое утро.

— Что увидела?

— Серые стоят не на дороге. В снегу, все четверо, в ряд, лицом к туману. На меня не глядят. На пироги не глядят. — Обида была самая настоящая. — Вчера глядели.

— Дальше.

— Дальше из тумана приехала карета. Та самая, без герба. И проехала между стойками шагом. «Имя» никто не сказал,

старший лист не поднял. Дерево на неё дышало, я видела, а люди — нет.

— Они сошли с дороги до кареты?

— До. — Вот это Тай выложила с торжеством: тут она считала. — Сначала сошли, потом приехало. Они знали, кто едет. Как у нас на плацу знают, что Брек идёт: никто его не видит, а все вдруг вспомнили про дела.

Ректор ответил не сразу. Он смотрел на корзину у двери, и Айра видела, что он это уже посчитал: стража, снег, «имя», которого не спросили.

— Перед кем стража Совета сходит с дороги, я знаю, — проговорил он. — Таких людей в Совете один.

И тут Знак у неё под воротом замёрз.

Остывать он умел, это она помнила: в первую осень, во дворе, при человеке с ямочками у рта, который улыбался ей, как любимой племяннице, и пах ладаном, как прибранная комната, Знак остыл. Теперь он не остыл, а замёрз: разом, тонкой иглой под ключицу.

Тихо. Я поняла. Он к нам.

— С ладаном, — сообразила Тай. Лицо у неё стало такое, какое бывало на плацу перед самым бегом. — Который матушке моей почтение передавал.

— Куратор Дейрус, — подтвердил ректор. — Он будет к вечеру, если дорога не решит иначе. Гостей кормят, адептка Ру.

— Я и говорю. — Тай подняла пустую корзину и повесила

на локоть. — Пирогі ему будут. Холодные.

Глава 7. Незримые

Марга кормила тех, кого не видела, так же, как всех: не спрашивая.

Столовая с утра гремела, как ей положено, и пахло в ней тем же, чем всегда, — луком, хлебом, мокрой шерстью, — только стол Архива стоял пустой. Пустой и занятый: над ним поднимались ложки, сами, по одной, и хлеб с доски уходил ломтями в никуда. Марга стояла на раздаче с черпаком и наливала в миски, которые сами подъезжали к ней по столу, как по льду.

— Спасибо, — отозвалась пустота над первой миской.

— На здоровье. — Марга налила вторую. — Ты кто?

— Лиск.

— Лиск. — Она это запомнила, как запоминала едоков: спиной и навсегда. — Так вот ты какой. Ещё одна мышь с голосом. Ешь.

Айра села за стол Тени, и Тай села рядом с корзиной, которую так и не отдала: пустая корзина при ней была теперь как ящик при Айре, на всякий случай. Тень глядела на стол Архива с уважением. Там ели, и ели много.

— Кто ест у моей двери, тот мой, — сообщила Марга черпаку. — Видно его или нет, это не моя забота. Моя забота, чтобы миска вернулась.

Миски возвращались, и Айра это отметила первой. Вчера

ночью Архив снял с Тевра кольцо, невидимость разошлась на всех, кто тянул, и заодно на башню, а есть им от этого хотелось так же. С воровской точки зрения стол Архива был теперь лучшим столом на свете: восемьдесят ртов и ни одного лица. С точки зрения Марги он был как все: съел — верни.

Лиц за столом Архива осталось три, те, кто ночью не тянул: Верен, который записывал, Веста, которая держала фонарь, и, с самого края, спиной к стене, магистр Ольдер, которого в башне той ночью не было. Он ел, не поднимая глаз от миски. Восемьдесят голосов вокруг передавали хлеб из воздуха в воздух, и всякий раз, когда рядом звякала ложка, он вздрагивал — на четверть, не больше — и продолжал есть. Мужественный, в сущности, человек: со своего места он так и не пересел.

Ним ходила вдоль стола с ложками.

Ложки у Ним водились свои, и она их знала по счёту, как знала всё. Она клала ложку туда, где над миской говорили «спасибо», и шевелила губами.

— Восемьдесят, — доложила она наконец Айре. — Ложек. Голосов — восемьдесят один.

— Кто-то сказал «спасибо» дважды.

— Никто не говорит «спасибо» дважды. — Ним это знала твёрдо. — Один лишний.

Лишний нашёлся сам: он храпел.

Храп шёл из угла, с дальней лавки, мерный и сытый, и вокруг него никого не было. Тень оглянулась, Тай оглянулась,

и все подумали об одном: так храпеть в академии умел один человек.

— Лектор Эйн, — определила Ним и положила рядом с храпом ложку. — Восемьдесят первая.

— А он-то как? — спросила Тай. — Он не Архив. Он вообще Корпус.

Ответили от стола Архива, тонко, по-первокурсному:

— Мы его вчера к себе увели. После лекции, под локти, как всегда. Он у полки уснул, и мы подумали — пусть.

— И он спал в башне?

— Спал у нас, — подтвердил кто-то из старших. — Стен наших со вчерашнего не видно. Он в них переночевал, и его теперь тоже не видно. Мы, честно, не знали, что оно и на чужих переходит.

Айра посмотрела на пустую лавку, на ложку возле храпа, потом на Тай. Тай посмотрела на Айру. Обе подумали одно: лектор Эйн всю зиму не заметит, что его не видно, и это будет самая спокойная зима в его жизни.

Ну, хоть кому-то повезло.

Отт вошёл со списком.

Он шёл вдоль стола Архива и читал имена, как читал их всякое утро у ворот, не поднимая глаз, а имена отвечали «здесь» — по одному, из воздуха. Отт ставил отметки и был, кажется, доволен: список сходиллся с голосами, а больше от списка ничего и не требовалось.

— Аскель.

— Здесь. — Аскель был старший, и голос у него был старший. — Куратор, мы посчитали. Нас восемьдесят один вместе с лектором. Это больше, чем вся Тень. Незримым положен свой курс.

— Курс — по списку, — отозвался Отт, не останавливаясь. — В списке — Архив.

— А лектор?

— Лектор это лектор.

— Мы бы хотели, чтобы незримым...

— Вопросы запрещены, — напомнил Отт и пошёл дальше. — Хольт.

— Здесь.

— Но это был не вопрос, это пожелала... — не отступал Аскель.

— Пожелания тоже запрещены. Продолжайте завтрак.

Виерна прошла через столовую своим шагом: с листом расписания, застёгнутая до горла, не глядя ни на кого. У стола Архива она остановилась на один взгляд.

— Незримые сдают наравне со зримыми, — сообщила она пустому столу.

— Госпожа декан, — спросил Аскель, — а как вы поставите «приемлемо», если нас не видно?

— Так же, как всегда. — Она помолчала свои полсекунды. — Лица вы мне и раньше не показывали. Только затылки над столом.

И ушла, а стол Архива помолчал и сказал «спасибо» ей

вслед, всем курсом. Это было, поди, первое «спасибо», которое Виерна получила от Архива за всё время, что Айра её знала, и она его не услышала. Хотя скорее сделала вид, что не услышала.

Гурта Айра нашла во дворе.

Он привёз соль и дрова, как возил через день, и стоял у телеги: видный, усатый, с той осенней ночи в нижнем городе видный навсегда. Ягода косилась на снег: по снегу ходили и скрипели, а никого не было.

Тевр стоял перед ним с кольцом на ладони.

— Это ваше, — говорил Тевр. — Я возвращаю.

— Было моё. — Гурт на кольцо не смотрел. — Теперь золото.

— Так возьмите. Золото же.

— Золото мне не надо. — Гурт пожевал усами. — Мне надо, чтоб меня опять не видели. Я сколько лет невидимый был, и никто на меня не косился. А теперь косятся. Вон, Ягода косится.

Ягода косилась.

— Я не могу сделать вас невидимым, — честно признал Тевр. — Но я могу...

— Не надо, — отрезал Гурт.

Это «не надо» Тевр слышал вчера от шестидесяти человек и сегодня от одного, и звучало оно одинаково. Он закрыл ладонь.

— Тогда я его сохраняю. Как фонд. Пока кто-нибудь не

захочет.

— Никто не захочет, — пообещал Гурт, взвалил мешок с солью на плечо и понёс на кухню. — Ягода, стой. Я на минуту.

Тевр остался стоять с кольцом в кулаке. Айра подошла, и он сказал ей то, чего не сказал бы ни при Гурте, ни при Марге:

— Он тут?

Кот сидел под телегой — там, где не наступают, — и глядел на Тевра с видом существа, которое перестали замечать и которое этого не простит.

— Тут.

— Я его не вижу. — Тевр это выговорил голосом человека, у которого пропал кошелёк. — С осени видел, а сегодня утром нет. Я подумал, он ушёл.

— Он тебя видит.

— А я его больше нет, — не сразу прибавил Тевр. — Я к нему привык.

Кота видели немногие, и Тевр из этих немногих выбыл. Пока кольцо сидело у него на пальце, он видел и Кота: кольцо давало это в придачу к невидимости. Кольцо сняли, и придача ушла вместе с ним. Айра объяснять не стала. Кот отвернулся: объяснений он не терпел.

— Сол.

Это сказали сзади, из воздуха, и она обернулась на голос, потому что оборачиваться больше было не на что. Голос был

Лиска. Второй, ниже и с нажимом, был Хольта.

— Ты видела узел, — начал Лиск. — Вчера. Ты одна видела. Расскажи, какой он.

— Зачем?

— Чтобы распустить обратно. По книге. Мне нужны имена стежков, я половины не знаю, но если ты скажешь, как он лежит...

— Не надо по книге, — вмешался Хольт. — Надо потянуть назад. Всем курсом, только в другую сторону. Я удержу.

— Ты уже держал, — заметил Лиск.

Хольт на это не нашёлся: тут было не поспорить.

Айра посмотрела на пустое место, где стояли двое. Вчера они её не слушали. Сегодня они её просили. Это была разница, а за разницу на рынке берут.

— Скажу, — решила она. — Не даром. В следующий раз, когда я скажу «отпустите», вы отпустите. Сразу.

— Отпустим, — согласился Лиск.

Хольт промолчал: он не обещал того, чего не умел, и это, по крайней мере, было честно.

— Узел на кольце с краю, где надпись стёрлась. Ты не соврал: маленький, серый, затянут, как мешок. Пока ты тянул один, он шёл. Как взялись все шестьдесят, встал на третьем стежке и затянулся. Гурт мне про это кольцо ещё осенью сказал: оно держит на хотении. Чем сильнее тянут, тем крепче сидит. Хотите обратно — не тяните.

— А что?

— Отстаньте.

— Это не по книге, — возразил Лиск.

— Помогла вам книга в тот раз?

Лиск подумал, и слышно было, как он думает: тяжело, со скрипом шестерён, которые проворачивались не в ту сторону.

— Я поищу в книге, как отстать, — решил он наконец. — Должно быть.

И ушёл, а по снегу пошли следы, аккуратные, и рядом вторые, глубокие: Хольт. Айра смотрела им вслед, то есть следам. В книге они найдут и это.

* * *

К девяти Эйн читал историю Совета всем трём факультетам, в Большой аудитории, как читал каждую зиму. Так повелось, и в девять аудитория была полна: Клинок слева, красным, Тень справа, синим, Архив в середине, серым.

Середина была пустая.

Пустая, но занятая: скамьи скрипели, тетради лежали раскрытыми, и над ними стояли перья, сами по себе. Одно уже писало. Первокурсники Клинка глядели на это через проход с завистью: там что-то происходило без них.

Кафедра тоже была пустая, и с кафедры читали.

— ...председателем двенадцатого созыва, — говорил голос Эйна из ничего, сонно и ласково, — был Ольмар Тесс,

друзья мои. Не тот Ольмар Тесс, что в одиннадцатом, а его племянник, тоже Ольмар. Присутствовали: Брандт Иверле, Гарт Веллин, Гарт Веллин-младший, дом Мат в лице... в лице... Отсутствовал Иво Ларк, о чём записано. В тринадцатом созыве...

Голос уплывал, возвращался и снова уплывал. Так Эйн читал всегда. Разница была одна: раньше при этом на кафедре стоял пожилой лектор с одним открытым глазом, а теперь стояла кафедра. Довели его сюда первокурсники — на голос, под локти, сами не видя ни его, ни себя, — и это было первое утро за много лет, когда Эйн проснулся не у косяка. Он не заметил.

Клинок при входе встал, как вставал перед всяким лектором: положено. Постоял, глядя на пустую кафедру, и сел. Тай, садясь, объяснила соседу так, чтобы слышал весь ряд:

— Положено.

— Кем?

— Не могу знать.

Тень тихо посмеивалась, а Клинок сидел прямо: Клинку смеяться на лекции нельзя, и Тай честно держала лицо, а плечи у неё ходили.

Кессельроде опоздал, как опаздывал на Эйна всегда: Эйн этого не замечал. Он прошёл со свитой по проходу, выбрал место, где было свободнее всего, то есть в самой середине, и сел. Середина ойкнула. С обеих сторон от него кто-то подвинулся, скамья скрипнула дважды, и Кессельроде получил

столько места, сколько ему полагалось по рождению. Он не обернулся: он вообще мало что замечал, а невидимых — тем более. Свита осталась в проходе, четверо в красном, стоя, как у стола, за который не звали.

Вот кому всё равно, видно тебя или нет. Он на тебя и видимого не смотрел.

— Кто мне назовёт, — спросил голос с кафедры, — председателя тринадцатого созыва?

— У меня рука поднята, — доложила середина.

Голос был тонкий, первокурсный, и Айра его знала: Ула. Та самая, с косой через плечо, что осенью держала руку на каждой лекции, на весу, как фонарь. Рука у неё и сейчас была поднята. Только смотреть на неё стало некому.

— Не вижу, — сообщил Эйн.

— Её никто не видит, лектор. Я говорю, что она есть.

— Тогда вопрос, — разрешил Эйн. Он, похоже, уже засыпал.

— Лектор. — Ула, судя по голосу, встала. — Иво Ларк отсутствовал, и это записали. — Она помолчала. — А нас не видно. Мы были?

Аудитория притихла целиком, все три цвета. Это был, между прочим, хороший вопрос, и Айра сама бы его задала, будь у неё рука.

Эйн молчал долго. Слышно было, как с кафедры сползает хроника.

— Вас кормят? — спросил он наконец.

— Кормят.

— Марга на вас тратит?

— Тратит. Восемьдесят одну ложку.

— Стало быть, были, — заключил Эйн. — Запишите: были. Записали?

— Записали, — ответила середина, и по скрипу выходило, что перья взяли все восемьдесят. Писали, положим, семеро, остальные возили пером для звука: конспект потом спишут у соседа, а скрип у соседа не спишешь.

Ректор заглянул в аудиторию на минуту, постоял в дверях, посмотрел на пустую кафедру и кивнул ей. Кафедра, кажется, кивнула в ответ, и он вышел. Айра смотрела ему в спину дольше, чем полагается на лекции, и Тай это заметила, потому что Тай замечала всё.

— Смотришь, — шепнула Тай одними губами, довольная.

Смотрела, да. Хотела насмотреться до вечера: вечером приедет Дейрус.

А потом голос Эйна споткнулся на тринадцатом созыве, потянул его — «трина-а...» — и затих. Из ничего донёсся храп.

Уснул стоя, на полуслове, как засыпал везде, где стоял, только раньше это было видно, а теперь слышно. Первокурсники, которые всегда подхватывали его под локти, наверное, и встали — скамья скрипнула, — но подхватывать было нечего и некому. Храп постоял у кафедры, потом двинулся, шаркая, по проходу к двери: кто-то вёл лектора на ошупь. У

косяка храп устроился и затих, довольный.

Юст, сидевший рядом, открыл тетрадку и записал коротко.

— Что пишешь? — спросила Айра.

— «Лекция. Лектор присутствовал». — Юст подумал. —
Иначе никто не поверит.

Расходились парами, и Айра это увидела в дверях: Тень парами, Клинок парами, невидимые, судя по скрипу, тоже по двое. Аскель с Оттом, Хольт с Улой, Веста с фонарём и кто-то при ней. Осенью парами ходили только те, кому было о чём молчать. Теперь — все подряд, не сговариваясь, ну как на ярмарку.

Виерна стояла у дверей с расписанием и смотрела на это так, как смотрела на всё: на тех, кто идёт, а не на то, куда.

— Парами ходите, — сообщила она проходу. — Это не осень.

Осень тут была ни при чём, и Айра знала, при чём. В мастерской, в коробе под Котом, лежала печать: два камня, которые не разнять. Спит она или нет, а Знаки к себе тянет, и кто ходит мимо неё вдвоём, того она вдвоём и держит. Ректор объяснил ей это ещё до зимы, у окна, и речь тогда шла про них двоих. Теперь — про всю академию.

Ладно. Хоть парами ходить теперь не стыдно: все ходят.

Тай шла рядом с ней. Вот вам и пара.

В приёмной ректор писал в устав.

Устав лежал на столе — толстый, в кожаном переплёте, из тех книг, которые никто не открывает, потому что все и так знают, что там, — и был открыт. Верен стоял над ним с лицом человека, при котором делают то, чего делать нельзя, и который это допускает.

— В устав вписывают по решению попечителя, — говорил Верен. — Это в самом уставе. Страница четыреста двенадцать.

— Впишите карандашом.

Верен подумал: снял очки, протёр, надел.

— Карандашом можно, — решил он. — Карандаш не запись. Карандаш заметка.

И вписал: строку, одну, мелко, на полях семьсот какой-то страницы. Вписал и прочёл вслух, как читал всё, что писал, — чтобы написанное сходилось с прочитанным:

— «Ректор отвечает за смотрительницу». — Верен поднял голову. — Дальше?

— Дальше ничего. Этого довольно.

Айра стояла на пороге и слышала каждое слово, и никто её не гнал. Ректор смотрел на строку, как на лист, где всё наконец сошлось.

Одна строка. Про вторую, что смотрительница отвечает за ректора, он, значит, не расслышал. Ладно. Моя поло-

вина подождёт.

— Вы говорили, там нет такого, — напомнил он Верену.

— Не было.

— Теперь есть.

— Карандашом, — уточнил Верен. — Карандаш стирается.

— Попечители тоже.

Верен на это не ответил, закрыл устав и унёс его, прижав к боку, как чужую вещь, которую дали подержать. В дверях он кивнул Айре — «адептка Сол» — и ушёл.

В уставе теперь стояла строка про неё, и он за неё отвечал, пусть карандашом. За неё раньше не отвечал никто, и от этой строчки её повело в тепло. Слово к этому теплу у неё было. Произносить его она не собиралась даже про себя. Ладно, ей и карандашом сойдёт.

— Дейрус будет к вечеру. — Ректор стоял у окна, как стоял утром, и говорил окну, а слышала она. — Я скажу вам, что он умеет, что ему нужно и что мы будем делать. Это недолго.

— Я слушаю.

— Умеет он одно: читать кровь. Кольцо на указательном пальце, камнем к ладони. Он жмёт руку самым обычным рукопожатием и держит, пока не досчитает. Пять секунд, семь. Ему не нужны стойки. Ему нужна рука. — Он помолчал. — Невидимость от этого не спасает. Руки у Архива есть, вы сами их видели ночью.

— Значит, прочтёт всех.

— Всех, кому подаст руку. Он подаёт всем: он вежливый.
— Он поглядел на неё. — Вашу возьмёт тоже. И услышит в ней то, чего у adeptки Сол быть не должно.

Она об этом уже подумала. Услышать вслух всё равно оказалось хуже.

— А нужно ему что?

— Камень. — Ректор поднял руку: на пальце оправа с пустым гнездом, Айра видела её с осени. — Камень моего дома. Его прикладывали к коже, и он наглухо запирали в человеке дар: человек жив, всё помнит, а дара нет. Пока Совет считает, что камень у нас, с домом Дейн считаются. А камня нет давно: он у дома Кер, у меня одна оправа. Дейрус попросит показать. И людей попросит: тех, кого в записях нет, а через академию они прошли. Он их искал всю осень. Раз приехал, значит, кого-то нашёл.

— И что вы сделаете?

Он повернулся от окна.

— Накормлю его ужином. Гостей кормят. Больше мне сегодня ничего не позволено — ни уставом, ни здравым смыслом. — И тише, ей, а не окну: — Он приедет за вами. Я это знаю с осени. Я хотел, чтобы вы слышали это от меня, а не за столом.

Айра кивнула пресно, как полагалось. Внутри у неё пресно не было.

За ней приезжали три года — пешие, конные, с бумагой и без, и она знала, что с этим делать: не быть там, куда приеха-

ли. Этому её учить не надо было. Но сейчас она услышала не «за вами». Она услышала другое: ректор только что вписал в устав, что отвечает за смотрительницу. Значит, тот, кто придет за смотрительницей, начнёт с того, кто за неё отвечает. Дейрус едет за ним. Из-за неё.

Список того, о чём никому, получил пункт, которого она боялась больше кареты: что увезут не её.

Не за мной. За тобой, начальство, — ты сам это карандашом вписал. А меня подадут на сладкое, после.

Ладно. Стол — это моё. На столе я ещё никому не проигрывала.

В дверь постучали. Стучали в эту дверь редко: Тай не стучала, Отт стучал листом.

Веста вошла и присела, с тем своим завитком на конце поклона, будто расписалась.

— Прошу прощения. — Это она ректору, а смотрела на Айру. — Я подумала, что вам пригодится. У нас дома куратор ужинал. Дважды.

— Дома — это у Ланнов, — уточнила Айра, хотя все знали.

— У Ланнов. — Веста не обиделась: она вообще не умела. — Он ест мало и хвалит много. Руку подаёт первым, всем по кругу, — матушка после него мыла руки. Пьёт воду. От мяса отказывается дважды и берёт на третий раз. И садится спиной к свету: он не любит, когда его видно.

— Спиной к свету, — повторила Айра.

— Всегда.

Это был весь ужин, поданный на блюде, до последней ложки, и Айра его взяла: еда есть еда, кто бы ни принёс. Взяла и положила туда, где лежало всё про Весту Ланн: девица принесла ей врага на блюде и присела с завитком. Улик стало на одну больше. Вражда, ясное дело, крепла. Веста явно что-то замышляла, помогая им. Осталось только придумать, что именно.

— Спасибо, — выговорила Айра. Это вышло с трудом, но вышло.

— Не за что, — ответила Веста, и, судя по завитку, ей и правда было не за что.

Тай, как и ожидалось, вломилась без стука, по-своему, с планом.

— Первой руку жму я, — объявила она с порога. — Помните, у стоек? Они на мне сбились: жилы поплыли, дерево задышало не в лад. Я горячая. Пусть и кольцо у него собьётся.

— Кольцо не стойки, — не согласилась Айра.

— Я только предлагаю. — Тай села. — И ещё: мать про него говорит одно слово. При вас, господин ректор, не скажу. Оно демонское. И невежливое.

— Скажите ему, — предложил ректор.

— Скажу, — пообещала Тай. — Когда буду держать за руку.

Айра встала: стол она видела так же, как видела рынок, —

где входы, где прилавок, кто куда смотрит.

— Куратора сажаем спиной к окну. Веста говорит, он любит спиной к свету, вот и пусть. Только дело не в свете. Окно у нас выходит на озеро, а в озере стоит Архив: во дворе башни нет, а в воде она есть, и окна в ней горят все до одного. Он тут бывал и помнит, что башня была. Один взгляд в это окно, и ему уже ничего не надо ни считать, ни выспрашивать: он увидит, что у нас пропало.

— А если обернётся? — спросила Тай.

— Гости не оборачиваются, — ответил ректор. — Это невежливо. Он очень вежливый.

— Тай — по правую руку от него. Марга — за спиной, с половником: подкладывать. Архив — на своих местах, по голосам, как утром, Отт отметит. Верен и Веста — на виду: они видимые, пусть будут за весь Архив лицом. — Она посмотрела на ректора. — Вы во главе. Я где всегда.

— Где всегда — это где?

— С краю. Откуда видно дверь.

Он кивнул: ужин выходил воровской, расписанный, как расписывают выход с рынка с чужим кошельком, и он это понял — и ни слова не сказал против.

* * *

В сумерках она пошла к нише со свечой, как всякий вечер: этого у неё пока никто не отнял.

Стихоплёт молчал с той поры, как встали стойки, и молчал по-каменному, без усилия: веки опущены, рот закрыт. Айра открыла фонарь и поставила свечу, а кремень дал огонь со второго раза, мороз, и свет лёг на каменное колено.

— Ну скажи хоть что-нибудь, — попросила она. — Хоть две строки. Хоть про меня.

Камень не ответил. Ей он не отвечал с лета, и это была не обида: молчание у него — высшая почесть, и он её держал. А тому, кто ехал сейчас по дороге, он промолчит по другой причине, и Айра её знала. Этого человека он уже приветствовал, осенью первого курса. Своих, воротившихся с дороги, камень встречает всякий раз заново. Чужому он отдаёт две строки один раз — и больше не глядит.

Дорога лежала чёрная и голая, туман по сторонам стоял слоями, и из дальнего слоя на неё поглядели. Она отвечать не стала: не до тебя сегодня.

Карету она сначала услышала: колёса по чёрному камню, глухо, без цокота, как по войлоку. Потом увидела: тёмная, закрытая, без герба, та самая, пара вороных шагом, и кучер глядел перед собой, как ему, видно, и платили.

Карета встала у ворот, дверца открылась, и из неё, не спеша, вышел человек с мягким лицом: ямочки, добрые складки, седина — всё на тех местах, где им положено вызывать доверие. От него через мороз дошёл запах ладана, сладкий и чистый, как в прибранной комнате.

Знак под воротом у Айры был холодный. Он замёрз ещё

утром и с тех пор не оттаивал.

Куратор Дейрус посмотрел на каменного в нише — камень не открыл глаз, — на фонарь, на неё. И улыбнулся ей одной, в глаза, как улыбаются любимой племяннице, которая выросла.

— Адептка Сол, — проговорил он. — Гостей, я слышал, у вас кормят.

И протянул руку. Первым.

Глава 8. Покажите камень

Руки у смотрительницы должны быть заняты. Это Айра поняла за один вдох, пока рука куратора шла к ней через мороз, — и заняла их.

На пальце у него было кольцо, а кольцо через кожу читает кровь: несколько секунд — и человек прочитан. С таким не здороваются.

Она повернулась к нише, открыла стекло и вынула фонарь целиком, со свечой, которую только что зажгла. Взяла в обе руки — фонарь был тяжелее, чем на вид, и она этого не скрывала — и подняла к лицу гостя: посветить. Свет лёг на ямочки у рта и на протянутую руку, а рука так и осталась протянутой.

— Темно у нас, господин куратор. Я посвечу.

— Заботливо, — оценил он.

— Смотрительнице положено.

— Разумно. — Он не убрал руку. — Осенью первого курса вы мне кланялись. В пол. Так кланяются там, где рук не подают.

Значит, помнил: она согнулась тогда перед ним в поклон, глубокий, провинциальный, и между ними легло расстояние, через которое руку не протянешь. Один раз это сошло, а второй раз тот же поклон он бы встретил как старого знакомого.

— В темноте кланяться невежливо, — объяснила Айра.

— Вы бы не увидели.

Он засмеялся негромко — и, похоже, взаправду — и взял фонарь. Вежливые люди берут то, что им дают: на это она и ставила.

Рука у него оказалась занята. Гость теперь нёс свет, а вела его она. Так у неё ещё не выходило ни разу, и второй раз такое, надо думать, не пройдёт.

Вот и поздоровались. Фонарём. Дать бы тебе им по голове.

Стихоплёт в нише остался без огня и промолчал: свои две строки он этому человеку отдал ещё в первый его приезд, а с чужими камень здороваётся один раз. Карета стояла у ворот, и кучер сидел на козлах, как сидят при грузе, а не при пустой телеге. Пустую отогнали бы к конюшне, а эту оставили.

Не пустая, значит, — ладно, узнаем.

Они пошли через двор: он со светом, она рядом, на полшага впереди. Снег скрипел под двумя парами сапог — под её привычно, а под его мягко и дорого. Такие в нижнем городе снимают с человека раньше, чем он заметит.

В столовой все сидели. Все три стола, по цветам, при полных мисках, и никто не ел: ждали, и это была самая тихая столовая за всю зиму. Пахло капустой, хлебом и мокрой шерстью. Марга стояла у раздачи с половником и ни разу им не зачерпнула: ждала, как все.

Стол Тени переставили в дальний конец, под окно. За окном лежала чёрная вода. Башни над водой не было, а в во-

де — была: стояла вверх ногами и светилась всеми окнами. Обернись он, увидел бы, что у нас пропало, и считать ему было бы больше нечего. Ректор сидел во главе и встал навстречу.

— Куратор Дейрус.

— Ивар. — Тепло, по имени, на всю столовую, как в первый свой приезд. — Я в гости. Мне сказали, у вас кормят.

Имя было её: «Ивар» она говорила ему наедине, и они условились, что при людях он ректор. А гость выложил имя первым, при всех, будто чужую монету: глядите, у меня такая тоже есть.

Клинок встал — им положено. Скамьи Архива скрипнули: там тоже встали, только видно этого не было.

— Сидите, дети, — велел куратор. — Я не с проверкой. Я ужинать.

Фонарь он отдал Марге, и Марга взяла его не глядя — но запомнила. Ректор показал на стул у окна.

— Сюда. Спиной к окну: от двери дует.

От двери дуло. От окна, между прочим, тоже дуло, только про озеро за этим окном ректор не заикнулся, а гость не спросил. Ректор прикрыл её рассадку так буднично, будто сам её и придумал. Гость сел, куда посадили, — спиной к чёрному стеклу, лицом в столовую, — и ни разу не обернулся.

Веста ещё днём выложила ей весь его ужин по пунктам, шесть штук. Первый — садится спиной к свету — на вечер

не годился: свет шёл от ламп, а окно у них было темнее стены. Айра засчитала его авансом: спиной к окну он сел, а что окно тёмное — так это уже её работа.

Айра села с краю. С торца, откуда была видна дверь и весь стол до последней ложки.

Тай сидела по правую руку от куратора, между ним и торцом Айры. Она не садилась — она была там раньше всех, половник у неё торчал за поясом, и ждала она одного: чтобы гость опустил на стул. Потом протянула ему руку. Первой, как обещала.

— Адептка Ру, — узнал он. И дал руку.

Тай взяла её обеими своими — правая снизу, левая сверху, — точно так, как брал всех он сам, — и держала. Айра считала: раз, два, три. Кольцо на его указательном пальце лежало у Тай на запястье камнем к коже, и кольцу было всё равно, что Тай горячая: стойки от неё плыли, а кольцо читало её спокойно, будто знакомый лист.

На четвёртом счёте Тай наклонилась к нему и выдала ему слово.

Тихо, одно, по-демонски. Короткое, с рычанием в середине — Айра его не поняла и не старалась. По лицу Тай было ясно: слово матери, невежливое, и Тай ждала его с самого утра.

Куратор не изменился в лице. Он улыбнулся Тай — тепло, по-родственному:

— Ваша матушка говорила мне это же слово. Дважды.

Она и тогда была точна.

И отпустил руку первым, на пятом счёте, раньше своих семи: ладони Тай остались лежать на скатерти пустыми, обе сразу.

Ответа у Тай не нашлось. Ни одного, и это на памяти Айры было в первый раз.

— Марга, — выговорила Тай наконец. — Полотенце.

Марга подала полотенце через плечо гостя. Тай вытерла руку, обе стороны, как вытирают после теста. Теста она сегодня не касалась.

Матушка Весты после него руки мыла. Ну да. Веста и тут не соврала.

Марга налила куратору первому, потом ректору, потом всем, и половник наконец пошёл. Гость ел мало: две ложки, третью повертел и положил. Хвалил много: капуста прекрасная, хлеб замечательный, «у вас всегда была прекрасная капуста, Ивар, я помню». Второй и третий пункты Весты, один за другим. Воды он тоже попросил.

— У меня гостям не воду подают, — сообщила Марга сверху.

— Мне — воду.

Четвёртый пункт, вода. Марга принесла её без одобрения, как лекарство. Мясо она поднесла — он отказался. Поднесла ещё раз: Марга подносила, пока не брали. Третий раз он взял.

Третий. Взял. Веста, чтоб тебя.

Он просидел спиной к окну весь ужин и не обернулся ни

разу. Пять из шести — считая тот, авансом.

— У вас новые лица. — Куратор отставил миску. — И старые, которых не видно. Я хочу поздороваться. С каждым.

И пошёл вдоль столов — шестым пунктом: руку первым, по кругу.

«Которых не видно». Значит, знал заранее, а она весь вечер стерегла ему окно. Окно она выиграла. Ужин — нет: теперь он пойдёт по столам руками, а руки есть у всех.

Первокурсников Клинка он взял быстро, по одному: имя из головы, два слова, рука. Кольцо лежало на каждом запястье свои семь секунд — столько ему надо, чтобы прочесть кровь, — и Айра снова видела то, что видела осенью первого курса: очередь к весам, где взвешивают кровь. Последняя в очереди была она. Кессельроде подал руку первым за своим столом, не вставая: ему одному за всеми столами это было в удовольствие, и кольцо прочло его, как всё в нём: норма.

Он подошёл к столу Архива.

Отт, куратор двора, стоял там с листом: при госте ему полагалось быть при списке. Глаз он не поднимал.

— Аскель.

— Здесь.

Куратор протянул руку в воздух над миской, и рука нашлась: из воздуха её взяли. Невидимые тоже были вежливые. Он держал свои семь, глядя в никуда с тем же тёплым вниманием, с каким глядел в лица, и отпустил.

— Куратор, — позвал Аскель. Оба куратора повернулись

— и Дейрус, и Отт. Аскель пояснил: — Который из Совета. Запишите нас восемьдесят один: с лектором. — Из-за косяка, как по заказу, донёсся храп. — Это больше, чем вся Тень.

— Лектор — это лектор, — ответили ему двое разом.

Отт и куратор Дейрус посмотрели друг на друга — коротко. И каждый вернулся к своему: Отт к листу, гость к рукам.

— Хольт.

— Здесь.

Куратор взял руку из воздуха и на секунду задержался: проверил пальцы, все ли.

— Крепкая рука.

— Ула.

— У меня рука протянута, куратор, — доложил тонкий голос. — Её не видно.

— Я вижу, — заверил куратор и взял.

Он не врал. Он видел не глазами, а кольцом, и кольцу невидимость была что холстина на корзине: под ней всё равно пироги. Отт отмечал каждого, восемьдесят голосов ответили «здесь», и руки выходили из воздуха одна за другой. Только Верен и Веста подали свои из-за стола, как люди: эти двое невидимости не тянули. Магистра Ольдера — видимого, с краю, спиной к стене — куратор обошёл: «Магистр Ольдер. — Куратор». Поклон, руки нет: своих, кто служит Совету, кольцом не читают. Ольдер было приосанился — и тут же сник. Верен — будто сдавал руку под расписку. Веста — с завитком.

— Адептка Ланн. Как матушка?

— Благодарю, хорошо.

Храп из-за косяка не прерывался. Лектор присутствовал, и куратор к косяку не пошёл: лекторов не будят.

— Восемьдесят, — подвёл он Отту. — Как в листе.

Дальше он шёл быстрее.

До её торца оставалось три руки, и Айра их считала.

Серак подал руку, не выпуская из другой гнутую ложку: отобрал у Ним ещё за супом — такого он не терпит.

— Моя, — не удержалась Ним издали.

— Адепт Темар Серак. Мы беседовали.

— Пять часов, — уточнил Серак.

— Вы считали?

— Я считал.

Тевр подал руку сам, из-за стола Тени, видимый до последнего волоса.

— Адепт Тевр. Осенью вас, докладывали, не было видно.

— Не было. Теперь видно. Я проверял.

Докладывали, ну да. Только не Ольдер: тот двадцать лет пишет в столицу, что всё спокойно, — чтобы столица не ездила. Доложил Архе, тот, что приезжал осенью считать: у него глаз был и на невидимых.

Тень он прошёл кивком: Ним, Юста, Кейру он держал за руку тогда, в первый приезд, и держать дважды было незачем. И остановился у торца стола. Там, где сидела она.

— Осталась одна рука. — Ласково. Так у лотка говорят

про последний пирожок. — Запад.

— Запад, господин куратор.

Запад был её сказкой с первой осени: семья Сол на выезде, провинция, где кланяются в пол и рук не подают.

— В тот раз у вас были заняты ноги: вы кланялись. Сегодня — руки. — Он это не спрашивал, он просто перечислял. — Что у вас будет занято весной?

— Весна далеко.

Он протянул ей руку — второй раз за вечер.

Здравствуй, кольцо. Мы виделись. До меня ты тогда не дошло. Ну, ищи.

Она сложила себя внутрь.

Как нитку перед ушком: не всю себя — только то, что звенит. То, что у неё в крови и чего у адепки Сол быть не может. Она делала это дважды: на экзамене первого курса — все сорок шагов сквозь стойки, и на пятнадцатом шаге у неё пошла носом кровь — и осенью, под землёй, на четыре счёта, пока плита не толкнула. Семь секунд — вот и весь её потолок, дальше платят кровью. Пошло ту же, чем в те разы, — замок, который давно не отпирали. Она это знала, и это ничего не меняло: его ладонь уже лежала под её ладонью, тёплая, сухая, сверху легла вторая, и кольцо, камнем к коже, легло на запястье.

Раз.

Он глядел ей в глаза тепло, внимательно — на всех он так глядел. Кольцо лежало холодное. Она была ниткой в ушке:

ни звона, ни тьмы, ни Знака под воротом — тот прикинулся мёртвым первым.

Пять.

Он держал: других он отпускал на седьмом, а у неё на седьмом держал по-прежнему, и улыбка у него не дрогнула.

Семь — потолок. В затылке налился обруч, горячий, — тот, что приходит всегда, когда она держит себя запертой, — и надавил изнутри на глаза. Она держала нитку в ушке восьмую секунду, девятую — по счёту, который уже плыл.

На девятой он отпустил.

— Ничего, — сообщил он ей одной, с нежностью. — Как тогда, на экзамене. Вам часто везёт, адептка?

— Как всем.

— Как всем — это через раз. — Он улыбнулся шире. — У вас — два из двух.

И посмотрел на её губу. Из носа на верхнюю губу уже шла кровь — горячая, солёная, с железом.

— С мороза, — подсказал он за неё мягко. — Я помню.

И пошёл на своё место, спиной к окну, а Марга прошла вдоль стола и, не глядя, сунула ей полотенце — то самое, Тай уже вытирала им руку. Знак под воротом оттаял на полвдоха и снова замёрз.

Два из двух. Оба раза — ничего. Ну и что ты с этим сделаешь, господин куратор? Ничего на бумагу не положишь.

Обруч в затылке и не думал отпускать. Гость за вечер подержал руку каждому за столами. Ректор не подал ни одной

— а свою, правую, убрал со скатерти под стол, спокойно, буднично. Айра это видела. Больше, кажется, никто. Рука у него дрожала — она видела это однажды и знала, что это значит: сказать нечего, а держать надо.

* * *

Гостью он привёл, когда доели.

Не сам — кучер ввёл её в столовую, из холода, с узлом в руке, и остался у двери. Она была в платке, и платок старил её, как и всегда, а под платком было то самое лицо: сухое, усталое, глаза старше всех за столами. Женщина остановилась у порога, огляделась — как оглядывают чужое жильё, готовясь из него уходить, — и выдохнула себе под нос что-то по привычке.

Скобы у порога столовой не было. Она вытерла подошвы о половик, долго, как о скобу.

Айра узнала её раньше, чем та вошла целиком. Тилла. Травница из Брода, к которой они с Тай ездили прошлой весной — искать живую покойницу. Бывшая адептка Архива, которую восемь лет назад вывели из этих стен: по бумагам умерла, на деле жила в Броде и лечила людей травами. Летом её перепрятали — «сестра захворала, за перевозом», — и осенью Айра ездила к ней туда одна, на новое место. Вот, значит, чем кончился перевоз.

— Я привёз вам гостью, — объявил куратор всем разом.

— Голодную.

— Голодную — значит, ко мне, — отозвалась Марга. Она уже шла с миской. — Садись. У меня с дороги едят первыми.

Тилла села у раздачи, на самый край лавки, и взяла ложку как свою. Обе ладони она положила на стол — на длину руки от всех.

— Тилла, — представил куратор. — По бумагам дома Дейн умерла восемь лет назад. Сердечная немощь, погребение... — он искал слово, — не указано. Лечила за перевозом. Слишком хорошо для мёртвой.

Ректор на неё не посмотрел. Ни разу, пока она садилась, — Айра ждала и не дождалась. Он смотрел на куратора с лицом человека, который сдаёт бумагу и знать не хочет, что в ней.

— Этой зимой мы поставили на вашей дороге дерево, Ивар, — продолжал куратор, повернувшись к ректору. — Не ради адептов. Ради тех, кого вы отсюда выводите: чтобы кто-нибудь вышел — и не совпал. Мы знали, что через академию проходят люди, которых нет в записях. Знали давно. Поймать за руку не могли: выходили-то живые, а по нашим записям они все мёртвые. Мёртвого на дороге не ловят. — Он положил ладонь на скатерть. — Теперь поймали.

Вот и всё про стойки на дороге: ловили у ворот, а поймали за перевозом. Мёртвая по бумагам женщина ела суп у Марги — вот и вся улика, и другой Совету не требовалось. Больше он о стойках не обмолвился, и Айра поняла, что и никто не

обмолвится.

Тилла ела медленно, по-своему, ложку за ложкой. За столом, где её только что называли мёртвой, она была единственная, кто ел.

— Покажите камень.

Это куратор ректору, просто, как просят передать соль.

— Камень дома Дейн. Тот, которым ваш дом запечатывал таких, как она: приложить к коже — и дар спит, а человек по бумагам мёртв. Я никогда его не держал. Я хочу поддержать.

Ректор снял с руки оправу — он носил её с осени, с тех пор как привёз из родового хранилища: золото, пустое гнездо. Камня в нём не было давно, дольше, чем ректор живёт на свете: камень ушёл к дому Кер, а Совет считал перстень целым и оттого считался с домом Дейн. Он положил оправу на скатерть, между солью и хлебом. Пустая, с дырой посередине, она лежала, как кошель, из которого вынули всё. Выложил он это своими руками, при всех, и Айра смотрела на дыру в золоте и думала не о камне — о нём: сколько ещё он сегодня положит на эту скатерть.

Куратор взял её двумя пальцами и посмотрел на свет.

— Оправа.

— Оправа.

— Камень?

— Камня нет. Давно.

— Совет полагал иначе.

— Совету следовало спросить.

Куратор положил оправу обратно, точно туда же, откуда взял. Бережно: чужую вещь.

— Хорошо. — Он повернулся так, чтобы видеть весь стол Тени. — Кто отвечает за адептку Сол?

Никто не ответил. Айра — тоже: полотенце у губы на минуту освобождало от разговоров. Она смотрела не на куратора — на ректора. Что он сейчас скажет, она знала. Чего это будет стоить — тоже, и пальцы у неё на полотенце похолодели.

— Дом Сол — средний, столица, семья на выезде. Я искал. На выезде они давно, и в столице их никто не видел. — Он развёл руками: не обвиняя, сожалея. — Стало быть, за адептку отвечает академия. Академия — это ректор.

Молчи. Ну молчи же.

— Ректор отвечает за смотрительницу. — Ректор не повысил голоса. — Это в уставе.

— В уставе такого нет. Я читал устав. Весь, дважды.

— Прочитайте ещё раз. Некоторые пункты были дополнены.

Это Айра слышала без полотенца, всей собой. Он выложил это при всех, при Совете, при трёх столах, тем же голосом, каким сообщал, что занятия завтра по расписанию. Строчку карандашом, вписанную засветло, — за неё. Ей захотелось встать и сказать что-нибудь глупое, лишь бы он замолчал. Она осталась сидеть: смотрительнице положено сидеть с краю.

Остановись.

Верен, к которому ещё никто не обращался, уже снимал очки.

— Чем? — спросил куратор.

Он спросил это не ректора, а Верена: куратор, оказывается, помнил, кто в академии этот устав читал от корки до корки.

— Карандашом, — ответил Верен. Врать он не умел, а молчать при вопросе — тем более.

— Карандаш стирается.

— Знаю. — Ректор не спорил.

— Ректор тоже. — Куратор продолжил без всякого перепада, тем же круглым добрым голосом. — Я привёз вам слово созыва, лорд Дейн. Его читают стоя, но у вас кормят, а я гость, и я скажу сидя. Совет находит ректора Дейна негодным к должности до окончания разбирательства.

Стало тихо, но не так, как в столовой, где ждут, а как в столовой, где слышали. Из-за косяка храпел лектор Эйн, мерно и сыто. Один на всю академию он не услышал ничего, и Айра ему на секунду позавидовала.

— Отмечу, — сказал ректор.

И больше ничего: ни защиты, ни вопроса. Лучше бы он кричал. Махал руками. Бил посуду. С кулаками, может, кинулся бы на Дейруса. Это можно понять, можно пожалеть, а такого — только смотреть, как он сидит во главе стола прямо, будто ничего не сказали, с пустой оправой перед собой,

и не подпускает к себе ни одного слова.

Тай рядом с куратором сидела прямая, и воздух над её плечами не дрожал. Она это умела: второй год училась не смотреть на Айру, когда рядом Совет, и сейчас не смотрела так старательно, что это было видно всем.

— Стало быть, за смотрительницу не отвечает никто. — Куратор достал из-за пазухи бумагу, сложенную вчетверо, развернул и положил рядом с оправой. Теперь на скатерти лежали две вещи. — Запрос по адептке Сол я подписал ещё в столице. Не сегодня, — прибавил он ей через стол, с улыбкой. — Сегодня у нас такой замечательный ужин. Не будем его портить.

Бумага была про неё, и Айра глянула на неё, как на чужую: секунду. По такой бумаге увозят — «по здоровью», так это пишет Совет. За ней приедут, не сегодня, а других дней у зимы много — и всё. Про себя думать было нечего, и она не думала — впервые, наверное, за всю свою жизнь.

Она думала про него. Увезут — значит, увезут от него. А он останется тут, за этим столом, без кресла, без камня в оправе, с бумагой Совета вместо устава — и всё из-за неё. Строчку он вписал из-за неё. Сняли его из-за строчки. «До окончания разбирательства» — она знала, чем у Совета кончаются разбирательства: каретой. Он теперь был в опасности, и опасность эта звалась «адептка Сол».

Ох, боги милостивые. Знала же, что всё к этому придёт. Почему не сбежала сама? Почему обязательно нужно было

обрушить всё это на его голову? Что же ты за дура, Айра...

И ещё одно, по-воровски, задним числом: бумагу он подписал до того, как спросил, кто за неё отвечает. Спрашивал не чтобы узнать — чтобы все услышали, что за смотрительницу отвечает никто, а ректор больше не ректор. Его решили в столице раньше, чем он взял карандаш. Он это, поди, знал — и всё равно взял.

Тай наклонилась к ней через угол стола и шепнула — для неё одной:

— Ты на него смотришь, как на пирог, который сейчас отнимут.

Тай перевела точно, только пирог был не Тай. Отнимали его у Айры.

Ещё одна строчка — в тот список, про который никому: его сняли из-за неё.

— Марга. — Ректор повернул голову. — Гостю ещё. Он мало ест.

Марга подошла с половником и налила куратору, и куратор поблагодарил. Ректор сидел напротив и смотрел, как гость ест: это ему за столом ещё полагалось, а больше — ничего. И он делал это одно до конца, как всё, что делал. Айра смотрела на них обоих и гордилась им — глупо, не ко времени, но гордилась.

Куратор поднялся, когда доел. Аккуратно, по-гостевому, сложил бумагу, оправу оставил лежать.

— Гостья устала с дороги. — Он кивнул на Тиллу, которая

доедала третью миску. — Ей бы поесть в тепле. Я её у вас оставляю до утра: у вас с дороги едят первыми. Я слышал.

— Гостей кормят. — Марга даже не подняла головы от раздачи.

— В прошлый раз я обещал вернуться и дочитать вашу академию. — Это он уже от двери, всем. — Сегодня я дочитал одну страницу. Остальные — весной.

Весной — Айра запомнила это слово, как срок. До весны у неё была зима: сделать так, чтобы его не увезли раньше, чем её.

И вышел, а ладан остался и уходил дольше, чем он сам.

* * *

На кухню Тиллу увела Айра. Не из вежливости: у Марги говорят, а ей надо было знать, как нашли, — и знать сегодня, пока карета стоит у ворот.

Тилла шла за ней, не оглядываясь, с узлом, и у кухонного порога остановилась. Скоба у кухни была, железная, у самой двери: Айра скребла о неё подошвы с первого своего дня.

Тилла скребла долго, честно, всю дорогу с себя, и Марга, не оборачиваясь от котла, поставила ей миску прежде, чем Тилла села.

Кухня была жаркая. Пахло луком, печным дымом и хлебом, лист едоков был на своём гвозде, а у печи, на самом жару, где никому не усидеть, сидел Кот и глядел на Тиллу,

прикидывая, стоит ли она его времени. Арден у лохани поднял голову — он чуял, когда на него смотрят, — и опустил обратно. Посуду мыл он. Ужин он пересидел здесь, и кольцо до него не дошло: за кухонной дверью гостей не считают.

Тилла села и положила узел у двери — так, чтобы взять не глядя, как складывала его в Броде в то последнее утро. Положила обе руки на стол. На колени ей взобрался Кот.

Тилла этого не знала. Она только шевельнулась, устраиваясь, и, не глядя, опустила руку на колени — на кота, которого для неё не было, — и оставила там.

— Тепло у вас, — заметила она. — Даже на коленях.

— Печь рядом, — сказала Марга котлу.

Кот прикрыл глаза: его устраивало.

— Как нашли? — спросила Айра. С Тиллой предисловий не тратили.

— По дыму. — Тилла ела и говорила без выражения, как читают каталог. — Сарн мне печь переложил. Ну ты помнишь. Доделал наконец. Тяга стала хорошая, печь топилась каждый день, дым шёл с утра до вечера. У мёртвой сестры за перевозом дым идёт, как у живой. Соседи заметили, а соседям всегда есть кому сказать.

— Сарн? Тот, что печи кладёт?

— Он. За ивняком, чужую печь перекладывал, третью. Вернётся — а меня нет. — Она отломила хлеб. — Ему хоть печь останется. Хорошая.

— Спрашивали?

Тилла подумала — впервые за вечер.

— В тот раз три ночи допытывались про одну вещь: где лежит. Ты знаешь. В этот — ничего. Посмотрели, сверили с бумагой, посадили в карету. — Она подняла глаза. — Значит, либо им больше не надо, либо они знают, где. Я бы ставила на второе.

Айра тоже ставила на второе. Парный Знак лежал в мастерской, в коробе, под крышкой и под двумя каменными. Сторож с крышки сидел сейчас у Тиллы на коленях, и Айру это, вообще-то, не успокаивало. А Архе, человек Совета, что приезжал осенью считать, умеет слышать пары: он услышал их с ректором и увёз в столицу то, что услышал. Знают, ну да.

Ладно. Знают — и приехали не за ним. Приехали за нами. Вот и весь расклад: Парный Знак подождёт, а мы — нет.

— Это он? — Тилла качнула подбородком в сторону столовой. — Тот, который меня выводил.

— Он.

— Я думала, он забыл меня. — Она отхлебнула из кружки. — Он на меня не посмотрел. Ни разу за весь ужин. Не забыл.

Дверь открылась без стука, и вошла Тай.

С мокрой тряпкой в одной руке и с пирогом в другой. Тряпку она приложила Айре к носу, не спрашивая, пирог положила рядом.

— Ешь. Ты бледная. Он тебе что сделал?

— Ничего.

— Вот это и плохо. — Тай села, посмотрела на Тиллу и узнала: — Ты же мёртвая.

— Мёртвая, — не стала спорить Тилла. — Хлеб передай. Тай передала хлеб. Потом посмотрела на свои ладони.

— Он его знал, — сообщила она. — Слово. Мама ему его говорила. Дважды. Я думала, я первая.

— Ты первая держала.

— Он первый отпустил. — Тай сжала ладонь. — Я держала. Я бы держала до утра. А он отпустил на пятом — я считала. — Она помолчала. — Мама мне это слово для него и дала. Оказывается, она ему сама его говорила. В лицо. И я не знаю, что она ещё ему говорила.

Айра отломил от пирога половину и подвинула Тай. Пирог был с горохом. Обруч в затылке от пирога не проходил, но становился привычнее, как всякая боль, которую покормили.

Марга гремела у котла, Арден мыл, Кот спал на чужих коленях, и Тилла держала на нём руку, не зная, на чём держит.

Утром Айра понесла фонарь обратно.

Свеча в нём сгорела за ночь до лужицы, но фонарь был Стихоплёта, и его полагалось вернуть. Двор был серый, снег скрипел, и в нише камень стоял с опущенными веками. Она поставила фонарь на место, вложила новую свечу. Огня не дала: утром не полагалось.

— Сегодня, — предупредила она его, — у нас уезжают. Двое. Проводишь?

Камень молчал: ей он молчал с лета, по чести, и держал это крепко. Если он и скажет кому слово на отъезд, то разве что этим двоим, — но ставить на это она бы не стала и медяка.

Карета стояла у ворот. Кучер уже выводил вороных из конюшни.

А от поленницы, из-за котельной, шёл стук. Мерный, с оттяжкой, по разу на полено: так колют дрова люди, которые знают, что дров надо много.

Она пошла на стук.

Ректор стоял у колоды без плаща и колол. Замахивался, как на всё: до конца, без запаса. Полено разлеталось надвое с первого раза, половинки летели в снег, он ставил следующее. Пар шёл от него, как от Тай. Рядом уже лежала горка — свежая, светлая на изломе.

Она встала в трёх шагах. Он не остановился.

— Дров на зиму мало. — Он не обернулся. — Я посчитал. Ещё вчера.

Ещё вчера — значит, знал вчера и считал не свои дни, а чужие дрова.

— Вы теперь кто?

Он поставил полено на колоду и примерился.

— Я теперь никто. Мышь при дровах, — сказал Ивар. И ударил.

Глава 9. Руки

Карету она догнала уже у ворот, а догнала бы раньше, если бы не стук за спиной. Стук шёл от колоды, полено за поленом, и уходить от него было почему-то труднее, чем от любого крика. Она всё-таки ушла. Человеку с топором свидетели, как-никак, не нужны, а смотрительнице положено видеть всё, что въезжает и выезжает. Сегодня выезжали двое, и утром она спросила камень в нише, проводит ли он их. Камень промолчал. У него это, к слову, ничего не значило.

Кучер уже сидел на козлах, прямой, как вчера, и глядел перед собой так, будто ему за это доплачивали отдельно. Воронные ждали. Карета была та самая, тёмная, без герба, дверца открыта, а перед дверцей Тилла с узлом. Узел она держала как в Броде, чтобы взять не глядя, и по порядку проверила всё, что у неё было: платок, узел, дверцу. Глядеть, впрочем, было и не на что.

— Погоди, — окликнули от поварни.

Марга шла через двор с корзиной, малой, под холстиной, и от холстины шёл пар. Она шла своим шагом, каким ходила к колодцу, и никто во дворе не сказал бы, что она торопится. Только пришла раньше, чем кучер взялся за вожжи.

— На двоих. — Корзина ушла в дверцу, мимо Тиллы, внутрь, где сидел куратор. — Он мало ест. Ты доешь.

— Доем, — согласилась Тилла.

— У меня с дороги едят первыми. — Это Марга уже дверце, для порядка. — В дорогу тоже. Правило одно, только с другого конца.

Из кареты поблагодарили: тепло, негромко, по имени, «Марга». Корзину взяли. Айра это услышала и запомнила отдельно: вежливые берут всё, что им протянут. Вчера фонарь, сегодня корзину. Это у них работа — брать, чтобы протянувший потом не отпирался.

Кот сидел на подножке кареты, тяжёлый, чёрный, с видом существа, которое ещё не решило, ехать ли ему в столицу. Тилла его не видела: поставила ногу рядом с ним и подтянулась в карету, и Кот подвинулся как раз настолько, чтобы не задела. С Советом он, как выяснилось, не ездил. Он слез, когда кучер взялся за вожжи, не торопясь, брюхом по снегу, и пошёл к мастерской. Сторожу короба, поди, хватило одного вечера на чужих коленях.

Умный. Я бы в столицу тоже не поехала. Меня, правда, не спросят.

— Стой! — крикнули от Корпуса.

Тай бежала через двор так, что снег не успевал под ней скрипеть. В руке у неё был пирог, один, в тряпице, и держала она его двумя пальцами, брезгливо: пирог был холодный, это читалось издали. Она сунула его в окошко кареты, не заглядывая внутрь.

— В дорогу, — сообщила она окошку. — Холодный. Горячие у меня для своих.

Из кареты взяли и это. Тай отряхнула ладони, будто пирог был грязный, и поглядела на Айру. Поглядела и знает.

— Ты опять бледная.

— Мороз.

— Ну-ну.

Она осталась стоять рядом и глядела на карету в упор, не мигая. Не смотреть она пробовала при будках мытников, и вышло плохо.

— Адептка Сол.

Куратор Дейрус высунулся в окошко, чтобы его было видно: седина на месте, добрые складки у глаз на месте, и даже через мороз от него потянуло ладаном.

— Гостью я увожу с собой, — проговорил он ей одной, доверительно. — Она пока побудет у меня. Мне нужно, чтобы её видели те, кто решает. — Он подумал и прибавил ласково: — Лорду Дейну передайте: дрова он колет прекрасно. Я слышал с самого утра. Колоть Совет не запрещает.

— Передам.

— До весны, адептка.

И убрал голову. Кучер тронул.

Те, кто решает, — это созыв, который снимает ректоров словом. Живую покойницу везли показать им как улику: вот женщина, умершая по бумагам дома Дейн, вот она дышит и ест суп. Рядом с такой уликой карандашная строчка в уставе — мелочь, и Айра это посчитала ещё вчера за столом. Сегодня посчитала снова. Сумма не менялась.

Карета покати́лась к воротам, колёса по чёрному камню шли глухо, войлочно. Айра стояла у ниши, руки за спиной: что у тебя в руках, то у тебя и возьмут, вчера взяли фонарь. Стихоплёт стоял как стоял, веки опущены, подбородок к небу.

Ну? Двое уезжают. Я тебя предупреждала.

Карета поравнялась с нишей.

И камень открыл глаза.

Со скрипом, как ставень, который не трогали с осени. Он повернул голову к карете, к окошку, где мелькнул платок Тиллы, и из каменного рта вышло не бормотание, а строка. Первая с тех пор, как на дороге встали стойки, и Айра услышала её так, как слышат монету, упавшую в пустой ящик: всей спиной.

— Восемь зим тебя не ждали. Восемь зим не ждал и я.

Воротилась — и довольно. Ты отсюда. Ты своя.

Две строки, и голос у него за молчание осел, но их он выговорил до конца и закрыл рот.

— Отдано. — Это он себе.

Карета остановилась. Не кучер остановил: вороные встали сами, прижав уши. Говорящий камень им не понравился. Из окошка смотрела Тилла. Лицо у неё осталось прежним, сухим, и по этому сухому лицу Айра поняла: такого ей не говорили восемь лет.

— Он меня знает, — проговорила Тилла, Айре, не куратору. — Восемь зим, а знает.

— Он всех знает. Поглядит и знает.

— Он на меня не поглядел ни разу. Вчера.

— Вчера ты сама была грузом. — Айра пожала плечами.

— А сегодня в окошке.

Тилла подумала над этим, как думала над всем: по порядку.

— Тот тоже не посмотрел. Который выводил. И сегодня не пришёл.

— Он дрова колет.

— Вот и я говорю. — Тилла убрала лицо от окошка. — Не забыл.

Кто вывел, тому рядом с выведенной стоять нельзя: увидят вместе, и пойманы оба. Это Айра знала от самой Тиллы, с весны, и объяснять, почему стук из-за котельной не прервался за всё утро, не стала: Тилла знала и так.

Из глубины кареты, негромко, с интересом:

— Ей две строки. Мне, я слышу, ни одной.

— Своим он даёт заново, господин куратор. Всякий раз, как воротились. — Айра говорила это дороге, не окошку. — А вам ещё не отдано. Вам на выезде положено по чину.

Кучер тронул второй раз, и воронье пошло. Карета дошла до черты, стёртой подошвами, и камень повернул голову ей вслед — со скрипом, до упора — и выдал по чину, четыре строки, все на один лад и ни одной тёплой:

— Ты гостем ел, а руки нам считал.

Ты гостью взял. Я видел. Я узнал.

Ворота настезь: путь тебе я дал —
до той весны, что сам ты обещал.

Створки, и так открытые, качнулись на последнем слове: по привычке. Из кареты донеслось, уже с дороги, с тем же интересом:

— По чину. А ей — по-свойски. Запомню.

И дорога, как всегда, длину решала сама. Сегодня она решила не задерживать: карета ушла в туман раньше, чем Айра досчитала до десяти. Она шагнула на выступ поглядеть: серые у стоек сошли в снег ещё до того, как карету разглядели, и стояли спиной к дороге, все четверо.

Стихоплёт закрыл глаза. Веки легли на место, подбородок к небу, и стало ясно, что больше он сегодня не скажет ничего, ни ей, ни кому другому.

Проводил. Обоих: одну по-свойски, другого по чину. Ладно, дядя, и на том спасибо: с камня больше не возьмёшь.

Магистр Ольдер стоял поодаль, у глухой стены, держась за ключи обеими руками, и губы у него шевелились. Айра прочла: «всё спокойно». В столицу он это отпишет, поди, ещё до обеда.

К полудню академия объяснила себе, куда делся ректор, и объяснила, как всегда, по-своему.

Версия была одна, и принесли её от поленицы. Торп, разумеется, потому что кто же ещё. У поленицы с утра пили чай и слушали стук из-за котельной, а стук не прекращался, и версия сложилась сама, как складываются все складные

версии: без единого лишнего гвоздя.

— Я спрашиваю: а кто теперь Сам? Ну, ректор по-ихнему, у поленницы так зовут, — рассказывал Торп у столба всем, кто подходил. — А они мне: Сам при дровах. У них так положено: кого сняли, тот при дровах, а кто при дровах, тот и Сам. Я говорю: а ректор? А они: ректор — это должность. Должность увезли. Сам остался. Вон, слышно.

Слышно было. По уму, версию надо было бы поправить: не «увезли», а сняли, и не «положено», а решили в столице. Айра не стала. Складное Торп любил больше верного, а верное, если подумать, было хуже — и складнее.

Ректора больше не было. В голове у неё это звучало странно, потому что звать его в голове стало нечем: «ректор» кончился вчера за столом, «начальство» она выговаривала со скрипом, «лорд Дейн» было чужое, так его звал куратор. Оставалось имя. Его ей отдали давно, ещё той весной, наедине, и с тех пор оно у неё так и было: на двоих, не при людях. Она попробовала его среди дня, при всех, в голове — Ивар — и оставила там, где легло. А легло оно, между прочим, легко, даже подозрительно легко.

Наверх она поднялась по делу: огарок из фонаря Стихоплёта полагалось убрать в ящик смотрительницы, а ящик стоял в его комнатах, у стула. На третьем этаже ей встретилась учебная часть. Учебная часть шла по коридору с листом.

— Смотрительница Сол. — Отт не поднял глаз от листа. — Кабинет принимаю по списку. Впредь до возвращения

ректора учебная часть в своём ведении. Прочее тоже в своём: другого ведения не прислали.

Прочее, значит: всё, что ходит, лежит и дышит, теперь у Отта в листе. Ну, хоть кто-то нас пересчитает.

Дверь кабинета была открыта, первый раз на её памяти открыта днём, без стука и без вызова, и Айра заглянула следом за Оттом, на правах смотрительницы. Кабинет был какой всегда: стол, шкаф, книги, у стены ректорское кресло, тяжёлое, пустое. Оно было не пустое. В кресле сидела Дисциплина, прямо, заломленный хвост на подлокотнике, и глядела на Отта одним жёлтым глазом, нахально, глазом занятого места.

— Кресло, — сообщил Отт листу. — Значится за ректором. Ректора нет.

Дисциплина не шевельнулась, и по тому, как она не шевельнулась, было ясно, что кресло занято. Отт подумал и решил, что не запрещено. И записал: занято.

Айра унесла огарок в ящик у стула и, спускаясь, подумала, что у академии теперь два начальства: учебная часть и Дисциплина. Второе надёжнее: оно хотя бы сидит на месте. Кто сядет, тот и прав, она это уже думала, когда кошка села на место рассыпавшейся будки. Кто ж знал, что кошка слушает.

* * *

Через час на столбе висело расписание, один лист, четыре

гвоздя, рукой Виерны. Ставок на нём не было: фонд угадывания с рассвета молчал, и Айра его понимала. Зато в самом низу была строка, какой этот столб не видел никогда:

«После полудня. Все башни. Большая аудитория. Занятие „руки“. Дейн».

У столба читали: Клинок вслух, Тень молча, Архив из воздуха, и голоса из воздуха спрашивали друг у друга, что такое «руки».

— Такого предмета нет. — Отт стоял тут же со списком, и в списке такого предмета не было, это читалось по тому, как он держал лист: обеими руками.

— Теперь есть. — Виерна вышла к столбу тем же шагом, что всегда, и на лист не посмотрела: она смотрела на тех, кто читал. — Расписание пишу я. Занятие ведёт лорд Дейн. Должности его лишили. Читать не запрещали.

— А Совет? — спросил кто-то из Клинка.

— Совет может выразить мне своё несогласие. — Виерна уже уходила. — В письменной форме.

К назначенному часу Большая аудитория была полна, как на Эйна, только не спали. Слева Клинок в красном, справа Тень в синем, а середина пустая и занятая: скамьи скрипели, и перья над ними держались в воздухе, по привычке.

Кессельроде пришёл вовремя, чего за ним не водилось, со свитой, и сел в Клинок, на своё место, и середина от этого выдохнула.

Ивар вошёл без плаща.

С поленом, свежим, светлым на изломе, прямо с колоды. Он нёс его под локтем, как Эйн носит хронику, и от полена по аудитории пошёл запах смолы и мороза, какого тут не бывало никогда. Клинок встал: Клинку положено вставать перед всяким, кто входит читать. Тай встала первой.

— Положено, — объяснила она соседу, не спрашивая.

— Он не ректор.

— Тем более.

Ивар дошёл до кафедры и положил полено на кафедру, и полено легло туда, как своё. Светлые глаза, седые виски, лицо человека, который наработался и теперь просто продолжает.

— Садитесь. Совет читает руки.

Аудитория села.

— Вчера вы это видели. — Он говорил, как читал расписание: спокойно, без нажима, полными фразами. — Кольцо на пальце, ладонь на запястье, пять секунд, семь. Стойки читают Знак. Кольцо читает кровь. От стоек защищает то, чего они не видят. От кольца защищает одно: занятые руки. Человеку с занятыми руками руку не подают. Это не мой приём. — Он посмотрел в сторону Тени. — Это приём смотрительницы Сол. Вчера у ворот она подала куратору фонарь, и куратор его взял. Вежливые люди берут то, что им дают.

Аудитория повернулась к Тени. Вся, обоими цветами, и середина тоже, судя по скрипу. Айра сидела пресно. Пресно у неё выходило хорошо, три года уличной практики, только

уши, оказалось, в практику не входили: уши горели.

Спасибо, Ивар. При всех. Теперь это будет «приём Сол», и когда меня за него посадят, все будут знать, чей.

— Показываю, — и он пошёл по рядам.

Он шёл мерно, руки за спиной, только теперь правую он вынимал и подавал. Подавал первым, каждому, по-столичному: ладонью вперёд, тепло, насколько тепло выходило у человека с лицом, которое не менялось никогда.

— Я вежливый, — сообщил он первому ряду Клинка. — Я подаю руку первым. Я улыбаюсь. Считайте, что я улыбаюсь.

Ивар не улыбался. Но Клинок искренне пытался считать обратное.

Тай руку не подала. Тай взяла его руку сама, обеими, правая снизу, левая сверху, как брала вчера, и держала.

— Я держу, — объявила она. — Первой. Он отпустит раньше.

— Отпустите, адептка Ру.

— Я до утра могу.

— Занятие до вечера. — Он высвободил руку не сразу: Тай держала честно. — Это тоже приём. Не мой и не смотрительницы, ваш. У него один недостаток: он работает, пока вы держите.

— Я и буду держать.

— Тогда вам понадобится второй, — ответил Ивар и пошёл дальше.

Кессельроде руки не подал и не взял. Он сидел, как сидел

всегда, глядя поверх, и лампы над его рядом висели к нему чуть ближе, чем к остальным.

— Мне не подают руки, — проговорил он в пространство.

— Куратор подал вам первому. Вчера.

— Это я подал ему. Разница.

— Разница, — согласился Ивар. — Вас читают как норму. Вам приём не нужен. — Он помолчал, чтобы Кессельроде успел это услышать до конца. — Пока не нужен.

Пока. Хорошее слово. У Совета все такие: пока, потом, до весны.

Свита ждала в проходе, и руки у всех четверых были заняты службой. Этот приём у них, надо думать, с рождения.

На Тени пошло веселее.

Юст держал тетрадку. Обеими руками, у груди, и когда Ивар подал ему руку, Юст поглядел на неё с настоящим сожалением.

— Не могу, — признался он. — Занято.

— Приемлемо, — отозвалась Виерна с последней скамьи, где сидела всё это время, никем не замеченная, как умела одна она.

Юст, ты гений. Не говори никому, испортишься.

Кейра подняла ладонь, как над учебной лампой, и на скамье перед ней легли руки. Две, занятые: одна держала другую. Айра прикрыла глаза, позвала тьму на вдох, по щиколотку, и посмотрела сквозь: нить тонкая, гладкая, чистая. Руки были морок. Хороший, на двух узлах, оба держали.

Ивар протянул ладонь и прошёл сквозь.

— Морок он не прочтёт, — заметила Виерна. — Но и не займёт. Кольцо ляжет на ту руку, которая под мороком. Метод не засчитан.

— Я знаю, — без выражения ответила Кейра и сняла руки. Потом он дошёл и до неё.

Айра сидела с краю, руки за спиной, по привычке, и он остановился напротив и подал руку — ей, первым.

— Руки за спиной — это не занятые руки, адептка Сол. Это спрятанные. Кольцо подождёт.

Он был прав, и это было обиднее всего: кольцо умело ждать, она знала это лучше всех в аудитории. Занять руки было нечем: ни ящика, ни фонаря, ни свечи — свечу она зажигала по вечерам. В кармане лежал кремь. Она вынула его и положила ему в протянутую ладонь.

— Возьмите. Вы вежливый.

Он посмотрел на кремь, потом на неё, и закрыл ладонь.

— Я вежливый, — подтвердил Ивар. — Я взял. — И, аудитории, не повышая голоса: — Вот и всё занятие. Кто протянул, тот и занял. Не свои руки, чужие.

Тай на своей скамье сказала одними губами что-то длинное. По губам Айра прочла только «пирог» и решила, что ей хватит: она смотрела, как её кремь уходит к нему в карман, и понимала, что обратно его надо будет спрашивать. Ну, спросит.

Середину он прошёл вслепую, по голосам, и на неё ушла

большая часть занятия: восемьдесят голосов, к каждому рука в воздух, и из воздуха её брали или не брали.

— А если в рукавицах? — спросила Ула из воздуха, тонко, по существу. — Через рукавицу кольцо кровь не прочтёт.

— Не прочтёт. Вас попросят снять. Вежливо. И вы снимете, потому что вежливо. — Это он в воздух, туда, откуда спросили. — Рукавица — не занятые руки. Это спрятанные, как за спиной.

— А у незримых рук не видно. — Аскель, старшим голосом, за всех. — Нам, выходит, и занимать нечего?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.